

АНАТОЛИЙ КУКАЕВ

с(Камм)
К896

НАШЕСТВИЕ

ЗА НАМИ—ТЫЛ

ТЫЛА НЕТ

НАКАНУНЕ БЕССМЕРТИЯ

РЕКВИЕМ

259179-4
2

Р/К

У/К



«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА · 1973

Перевел с калмыцкого
ПЕТР ЛЕБЕДЕНКО

Новая редакция перевода
НАТАЛИИ БОЯРСКОЙ
и НИКОЛАЯ ЕРШОВА

Человек стоял на кургане и слушал степь.

Степь была для него песней, которую он сам сложил, в каждом звуке этой песни он слышал дыхание степи, каждый шорох ее был короткий толчок его сердца. Человек был связан со степью так, что ему казалось: оборвись эта связь, и он перестанет дышать, потому что на двоих у них была только одна душа...

Он часто слышал слова, смысла которых никогда не мог понять: «мертвая степь». Разве степь может быть мертвой? Она может уснуть, может затаяться, притихнуть, но прислушайся к ней, и услышишь, как она дышит, как бьется ее пульс. Даже глухой ночью,

когда тишина плывет над барханами, когда кажется, что мир стал немым и черным, как черное небо над ним, — даже тогда степь продолжает жить.

У холма вспыхнули два огонька, качнулись во тьме и застыли — это голодная волчица вышла на промысел. Дрожащими ноздрями она втянула в себя воздух и, чуя запах человека, опустила морду на лапы. Вот зашуршал песок, зашуршал так тихо, будто легкий ветерок пробежал над ним и сразу стих, — это змея свернулась тугими кольцами, замерла в ожидании. Послышался тонкий свист, такой тонкий, что не сразу поймешь, откуда он, и только через мгновение, когда над тобой опять повиснет тишина, ты догадаешься, что это была ночная птица. Вдалеке призывно заржал жеребенок, потерявший мать, где-то сонно вздохнула овца, зачмокал ягненок, настороженно зарычала овчарка.

Степь жила...

НАШЕСТВИЕ

Человек стоял на кургане и слушал степь. Степь входила в него вся. Даже закрыв глаза и не глядя в сторону кибиток, он мог бы сказать, почему умолк волкодав Джин: почувяв запах варева, пес, конечно, уже облизывается. Лукавая бестия этот Джин, такой собаки не найдешь и за сто верст вокруг. А что это так пристально смотрит на небо Анджа? А-а, он увидел тучку... Мальчик поплевал на палец, поднял его над головой — ветерком потянуло от далекого моря, значит, придет дождь. Учись, сынок, понимать степь, тебе в ней жить. Делгир, куда ты смотришь из-под ладони, что тебя так встревожило? Да, да, ты права, жена моя, что-то случилось, если всадник не жалеет коня в такой зной. Это ведь Санкары, только он так сидит на коне, другие сидят не так.

— Эй, Санкары!

Человек поднял гирлик, помахал всаднику. Тот круто повернул в сторону холма и через минуту спешился, бросив поводья на шею лошади. Весь взмыленный, с красной пеной на губах, конь тяжело дышал.

— Здравствуй, Цекря Лиджиев, — сказал Санкары человеку с гирликом и облизал пересохшие губы. — Я к тебе.

— Говори. Вижу — не с доброй вестью ты прискакал.

— Ты прав, Цекря. — Голос у Санкары был глухой, глаза растерянные, и весь он

был непохож на себя. — Ты прав, Цекря, — повторил он. — Худую весть я привез тебе. Война, Цекря! Фашисты... Большая беда случилась, Цекря. По радио говорят: «Уже льется кровь».

Он на минуту умолк, глядя на человека с гирликом, потом вскинул голову:

— Почему ты молчишь, Лиджиев? И почему ты отвернулся от меня? Вот тебе повестка. Повестка, слышишь, Лиджиев?

Только сейчас Санкары увидел, куда смотрит Цекря: у кибитки, сложив на груди руки, стояла Делгир. Она все слышала, ни кровинки не осталось в ее лице. Пошатываясь, как от хмельного, Делгир направилась к мужчинам, Цекря стоял недвижно и смотрел на нее. Много трудных верст пройдет Цекря по дорогам войны и много раз будет вспоминать вот это лицо Делгир: улыбку ее, в которой танлась тоска, глаза ее, в которых застыла печаль. Он знал, что Делгир не станет плакать. Может быть, только потом, когда Цекря уедет, она упадет на кошму, зароеется лицом в подушку и заголосит. Но это — потом. А сейчас она старалась остаться такой, как всегда, чтобы такой ее вспоминал Цекря.

Делгир подошла к мужчинам:

— В кибитке есть холодный кумыс. Если гость не спешит, пусть немного отдохнет с дороги.

Она приветливо улыбнулась и жестом пригласила мужчин в кибитку. Санкары замялся. «Наверное, она не слышала моих слов

о войне, — подумал он. — Если б слышала, ей было бы не до этого».

Он сказал, смущенно глядя на Делгир:

— Я плохой гость, Делгир. Я привез вам худую весть.

— Знаю, Санкары, слышала. Весть худая, но гость всегда гость.

— Спасибо, Делгир. — Санкары поклонился. — Спасибо тебе, ты хорошая женщина. Желаю тебе счастья, Делгир.

Ни слова не сказав больше, он вскочил на коня, взмахнул плетью и через минуту скрылся.

2

Они молча вошли в кибитку, остановились у порога. Не просто им было осмыслить все, что вошло теперь в их жизнь.

Они понимали: война — не только разлука, это даже не смерть одного из них и тоска на всю жизнь другого. Война страшнее личного горя, это беда народная, от нее никто никуда не уйдет, никто нигде не укроется.

Они понимали: фашизм — а они уже многое знали о нем — замахнулся на то, без чего человек не может жить, — на свободу. Скажи им сейчас, что у них только один выбор — смерть или ярмо фашизма, — они бы, не задумываясь, выбрали первое.

Каждый из них понимал это, но сейчас, стоя друг против друга, они не могли думать

ни о чем другом, кроме разлуки. Семь лет прошло, как они вместе, но по-прежнему не могут прожить друг без друга и дня, все им кажется, что они встретились только вчера, что у них не было достаточно времени высказать друг другу все, что обоих переполняло.

— Сядем, Делгир, — сказал наконец Цекря, опускаясь на кошму.

Она села рядом, закрыла лицо руками, и Цекрю захлестнула острая жалость. Он хотел сказать: «Держись, жена!» — но не сказал, а только осторожно отнял ее руки от лица и лбом прижался к ее виску. Он всегда так делал в минуты нежности, и Делгир, словно ей передавалась его нежность, всегда улыбалась. Она и сейчас улыбалась. В ее улыбке и прежде была грусть, но теперь уже залегла тоска. «Только бы не заплакать, — удерживала она себя. — Слезы — плохое воспоминание для человека, надолго покидающего свой кров».

— Я буду думать о тебе день и ночь, — сказала Делгир. — И ты думай обо мне. Так нам будет легче.

Он обнял ее за плечи, привлек к себе и стал целовать. На миг он забыл все тревоги, забыл о разлуке, забыл обо всем: только Делгир и он, только их любовь...

— Подожди, я задерну занавеску. Отпусти меня.

Но он еще крепче прижал ее к себе. Никогда он не был таким нетерпеливым и жадным, как в эти минуты. Это, наверное, пото-

му, что он хотел унести с собой все, без чего вдали от этой кибитки нельзя будет жить: запах степи, исходящий от волос Делгир, ее горячий шепот, горьковатую влагу ее губ, последнюю дрожь ее тела. Он возьмет это с собой...

Через час пришел старый чабан Бадма. Взглянув на уложенную походную сумку, он набил трубку, закурил и сел у порога. Делгир налила ему кумыса:

— Выпейте, аав!

Старик покачал головой:

— Спасибо, Делгир. Ты уже собрался, Цекря?

— Собрался, Бадма. Только сейчас хотел идти к вам. Я должен передать вам овец, теперь вы будете хозяином всей отары.

— Всей отары... — повторил чабан. — Тысячи овец, а у старика только две руки и две ноги.

Цекря пожал плечами:

— Что же теперь делать, Бадма? Наверное, везде теперь так — молодые уходят, старики остаются.

Старик улыбнулся.

— Думаешь, я жалуюсь? Тревога, сынок, в сердце вошла. Колхозное добро не шутка, недогляжу — что тогда? Еще бы две руки — две ноги... Молодого кого-нибудь, говорю, понимаешь?

Бадма говорил это Цекре, а сам все смотрел на Делгир. «Хитрый старик!» Цекря тоже взглянул на жену. Делгир сделала вид, что не понимает намеков.

— Была бы моя Бальжрма помоложе, Бадма и горя не знал бы. Взял бы ее в помощники...

— У меня ведь дети, аав, — отвечая скорее себе самой, чем старику, сказала Делгир. — На кого их оставишь?

— Так, так, — закивал Бадма. — Детей без присмотра нельзя оставлять. Как можно оставлять детей без присмотра? Моя старуха Бальжрма тоже так говорит. Я, говорит, если надо, сама буду смотреть за детьми Делгир. Трудное время сейчас, и каждый должен это понимать. Вот как говорит моя старуха Бальжрма, да проживет она еще сто и два года...

Делгир улыбнулась:

— Помогу вам, Бадма. Помогу, как и раньше...

— Спасибо, дочка. — Бадма приложил руку к сердцу. — Я знал, что ты скажешь такие хорошие слова. Но если до конца говорить, не совсем это правильно. Помогать — одно, а вот заменить мужа — это совсем другое! Чтобы, значит, по закону... И чтобы люди сказали: «Делгир Лиджиева, жена Цекри, и старик Бадма — лучшие чабаны колхоза». И скажут, дочка, поверь моему слову!

Делгир промолчала: выдержит ли она? Летом еще ничего, а вот придет зима, закрутят выюги — как тогда? Сутками верхом на коне, телом своим согревать ягнят, в промерзшей степи отыскивать корм для отары — хватит ли сил? Она подошла к мужу и при-

жалась к его плечу: пусть скажет он. Цекря сказал:

— Ты сильная, Делгир. Ты хорошо знаешь степь, и степь знает тебя. Разве этого мало?

Старик живо, как молодой, поднялся с кошмы, хлопнул в ладоши.

— Разве этого мало? — повторил он слова Цекри. — Когда человек и степь знают друг друга — ничего человеку не страшно! Дай-ка я обниму тебя за эти слова, сынок. И тебя обниму, Делгир, правильно ты решила. А теперь пойдемте в мою кибитку, Бальжрма уже все приготовила. Выпьем арьки, по обычаю скажем пожелание в дорогу. Длинная у тебя дорога, сынок, только чует мое сердце: вернешься ты героем.

3

Никогда не забудется: войлочные кибитки, палатки, кошмы, расстеленные прямо на земле, оседланные кони, верблюды, овчарки. Все это порождало большую тревогу, тоску и смуту в душе, как перед великим кочевьем в неведомое, как перед лицом судьбы. Прибывало все больше людей, становилось все больше кибиток. Гудело и звенело в ушах от людских голосов, от лая собак и ржання коней, к небу тянулся дым костров, горячий воздух наполнился запахами чая, джомбы и бараньего жира. Лагерь жил. Он был полон движения.

На площади, утрамбованной лошадьми и верблюдами, белело скорodelьное сооружение из свежеструганых досок — трибуна. За большим дубовым столом сидел председатель сельсовета Бокта, и сидел еще человек из военкомата, он составлял списки мобилизованных. Помнится, парнишка какой-то все досаждал им, как овод, не давал делать дело. Бокта, утирая пот рукавом, кричал на него:

— Тебя кто сюда вызывал? Отойти от стола, добром тебе говорю!

Парнишка азартно жестикулировал:

— Не имеешь права отказывать. Ты не царь! Пиши так: доброволец Муча Доржиев зачисляется в кавалерию!

— Сопли вытри! Кавалерист... — Бокта поднялся, глазами отыскал кого-то в толпе. — Эй, Темян! Забери-ка этого сосунка, отведи в сельсовет и держи, пока не приедет его отец.

Парнишка быстро шмыгнул в толпу.

— Ну подожди, старый сапог! — пригрозил он. — Подожди, мы с тобой еще встретимся!

Кругом засмеялись, а Бокта неожиданно рассердился:

— Вы что, на праздник пришли?

«От Советского информбюро...» Голос был тревожен, и люди сразу притихли: человек перед микрофоном в Москве напомнил им о действительности, к которой им так трудно было привыкнуть. Диктор говорил, что после ожесточенных боев наши войска оставили

много населенных пунктов, что враг, не считаясь с потерями, рвется на восток, уничтожая на своем пути все живое. Тысячи километров пролегали между линией фронта и маленьким калмыцким селом, но каждому казалось, что он слышит, как стонет земля, видит, как вздымаются к небу зарева пожаров.

На трибуну взошел председатель колхоза Эрдни Чудутов, рано поседевший, не по-калмыцки светлоглазый, с крутыми плечами, сильный человек.

— Дорогие товарищи! Сегодня мы проводим на фронт первых посланцев калмыцкого народа. Вместе с русскими братьями, плечом к плечу с грузинами и таджиками, киргизами и туркменами они будут сражаться за честь и независимость нашей любимой Родины.

Голос у Эрдни был глуховат и негромок, но убежденность и искренность придавали его словам весомость. Эрдни любил свою степь. Сутками мог он скакать в седле, в зной и непогоду объезжая хотоны, в любой час дня и ночи его можно было видеть то в кибитке, беседующего со стариком, то бредущего рядом с чабаном за его отарой, то на строительстве новой кошары. Он всегда говорил: «Родина — это все! Это пурга в степи, это хорошая песня, любовь, счастье. Родина, — говорил он, — это все, что пришло к нам в тот день, когда мы перестали быть рабами...» Так он говорил и сейчас. Он говорил:

— Тот, кто уходит и кто остается, — пусть каждый заглянет в свое сердце и скажет себе: пришел и мой черед отблагодарить Родину за все, что она мне дала. Делгир Лиджинева! — крикнул он в толпу. — Подойди сюда!

Делгир, стоявшая рядом с мужем, не поняла, зачем она могла понадобиться Эрдни в такую минуту.

— Иди! Это — тебя!

Эрдни вышел навстречу, взял ее за руку, и вот она стоит перед сотнями людей, смотрит на них и никого не видит. Соломенные шляпы, косынки, цветные халаты слились в пеструю массу. Ей хочется в этой массе узнать Цекрю, но и он затерялся, Делгир никак не может его отыскать. А Эрдни между тем говорит, заглядывая в клочок бумаги:

— Мой муж Цекря уходит на фронт, и я хочу заменить его. Пускай Цекря честно воюет, а я возьму его гирлик и пойду за отарой...

«Знакомые слова, — удивилась Делгир. — Очень знакомые слова... О, дярке! Да ведь это же я писала так в заявлении! Зачем же Эрдни читает людям мое заявление, буд-то это какая-то книга?»

Эрдни говорил:

— Я знал Делгир, когда она была маленькой. Отца ее засекли бандиты за то, что он спрятал от них единственную овцу. Мать Делгир умерла с горя. Делгир осталась забытым зверьком, ей казалось, что мир — это мир зла.

«Да, так мне тогда и казалось, он правильно говорит».

— ...Немало трудных дорог прошла с тех пор Делгир, простая калмыцкая женщина, — дороги к счастью не бывают легкими. И разве может она отдать врагам счастье, к которому пришла?.. Она говорит: «Пусть Цекря честно воюет, а я возьму его гирлик...» Делгир, скажи людям, что у тебя на душе, пусть все услышат твои слова...

Делгир испуганно смотрела на Эрдни. Разве она может сказать то, что чувствует, когда на нее смотрят сотни глаз? Это председателю легко, он привык, а Делгир даже в своей кибитке, если в ней сидит кто-то еще, кроме Цекри и детей, старается больше молчать. О, дярке, зачем Эрдни все это придумал? Кто-то, кажется Бокта, громко крикнул из толпы:

— Скажи, Делгир!

И сразу же закричали со всех сторон, что-бы она говорила. Она и потом, много времени спустя, не могла вспомнить, как все это случилось. Мелькали лица, пестрые одежды мужчин и женщин, плыл дрожащим маревом степной горячий воздух. Какая-то сила подхватила ее.

— Хорошо, я скажу! — и сорвала с себя косынку. — Мой Цекря — вот он там стоит — уходит на фронт, и я остаюсь с двумя детьми. Тяжело, но я все равно возьму его гирлик, потому что иначе нельзя. Что будет есть мой Цекря, если овцы передохнут? Откуда мы возьмем шерсть, чтобы связать теп-

лую одежду солдатам? Если я не возьму гирлик, если Нарма не возьмет гирлик, Булгун не возьмет — кто возьмет?..

Она умолкла, и тут только стало ей страшно: как могла она решиться на такой шаг — говорить перед большой толпой? Но вот она увидела Йисена, чабана из соседнего хотона. Йисен — балагур и насмешник, а сейчас он смотрит на Делгир так, будто все, о чем она говорит, это он говорит. А возле Йисена старая Цаган по-доброму кивает Делгир седой головой. За ее спиной стоит Цекря, и по его глазам Делгир видит, что рад за нее Цекря, очень рад: вот, мол, какая у меня жена, смотрите!

Успокоившись, Делгир еще сказала:

— Рядом с нашей кибиткой стоит кибитка Бадмы и Бальжрмы. Бадма — старый человек, но он не думает валяться на кошме. Бальжрма — старая женщина, но она будет смотреть за моими детьми, когда я вместе с Бадмой погоню отару в степь. Так мы будем жить, пока идет война... Это я и хотела сказать. И еще я хотела сказать... Женщины Калмыкии, чьи мужья уходят на фронт! Берите их гирлики, потому что сейчас не такое время, когда можно сидеть и греться на солнышке. Нас много, и мы заменим своих мужей...

Пока она шла к Цекре, сотни ладоней хлопали с такой силой, будто она произнесла невесть какую речь. Пряча смущение, Делгир уткнулась в плечо Цекри, и Цекря почувствовал: она тихонько вздрагивает.

4

На рассвете все, кто был призван в армию, уехали в районный центр.

Опустела степь, тоска охватила живую ее душу. Донесется откуда-нибудь ржанье коня, тшечно зовущего хозяина, заблеют овцы, не видя у колодца чабана, взвизгнет овчарка, не услышав привычного голоса, — и опять все надолго стихнет. Только вчера в хотонах звенели домбры, пели скрипки, гудела земля под ногами плясунов, а сегодня лишь знойное марево плывет над кибитками.

Ушла из степи жизнь... Когда вернется?

Чуть свет, отведя детей к Бальжрме, Делгир взяла гирлик своего мужа и, кликнув Джина и Ветра, погнала отару в степь. Не привыкать ей было отмеривать версты, разыскивая травы, но раньше рядом шагала Цекря. А если он и оставался в хотоне, Делгир все равно чувствовала его присутствие. Идет, бывало, поет и вдруг остановится:

— Ты слышишь меня, Цекря?

Цекря далеко, но все равно — Делгир это хорошо знает! — он слышит ее. Она закрывает глаза, прислушивается, и вот уже доносится к ней:

— Эге-ей, Делгир!

Она ни на минуту не оставалась одна, даже когда Цекря был за сто верст от нее. С той поры как Цекря привел ее в свою кибитку

ку, он стал для нее всем. Часто она думала так: случись что-нибудь с ним, уйди он от нее, и жизнь станет похожей на засохший куст колючки. Теперь он ушел, далеко ушел, и надолго. Когда он вернется? И вернется ли? Уже льется кровь и гибнут люди, — говорил Санкары, вручая Цекре повестку. Значит, может погибнуть и Цекря... А как же тогда она?

Делгир остановилась. Впервые пришла к ней эта страшная мысль, и она почувствовала, как сразу ослабили ее ноги. Ей захотелось бросить отару и бежать, кричать, звать его к себе, он не должен уходить от нее, он должен вернуться!

Джин потерял о ее ноги, лизнул руку и заглянул ей в лицо, в умных глазах собаки тоже стояла тоска. Делгир присела и обняла собаку за шею.

— Ничего, Джин, будем ждать. Он вернется к нам...

В то утро, когда Делгир проводила Цекрю и впервые осталась одна, она так подумала: «Каждые сутки без него будут равны году. Время умрет, как день на закате». Но прошел месяц, прошел другой, боль разлуки утихла, и Делгир увидела, что время не умерло... Напротив, стремительно, как джейран, оно мчалось вперед, и его не хватало даже на то, чтобы сесть и тихонько поплакать, пожаловаться самой себе на одиночество. Солнце еще не всходило из-за барханов, а она уже отправлялась к кошаре, сумерки уже

ползли по холмам, а она только возвращалась домой.

— Мама, ты не любишь меня? Ты теперь любишь овец?

Она с трудом поднимала мальчика на руки, прижимала к себе.

— Я еще больше люблю тебя, сынок. Только вот сил у меня нет поиграть с тобой.

— А почему раньше были?

— Раньше папа был дома. А теперь все легло на мои плечи.

Анджа смотрел на опущенные плечи матери и, ничего на них не увидав, соскальзывал с ее коленей и убегал, обиженный.

Нелегко приходилось и Бальжрме. Маленькой Булгун не исполнилось еще и трех лет, но это уже была сорвиголова. То она носится за кошкой, то, стащив спички, где-нибудь разжигает костер, и всполошившиеся соседи кричат, что их хотят спалить, то исчезнет куда-нибудь и, когда отчаявшаяся Бальжрма, заглядывая в колодец, примется хвататься за сердце, появится как ни в чем не бывало:

— Баба, мы всегда будем играть в понщи, ладно?..

5

В конце октября явились первые знаки зимы. Выйдя на рассвете, Делгир взглянула на степь и удивилась перемене, которая произошла за ночь. Только вчера зеленела тра-

ва и еще припекало солнце, а сейчас ползли тучи, то сыпал холодный дождь, то лепил снег. Степь, будто кто стер с нее живые краски, побурела и лежала унылая.

Раньше, провожая лето, Делгир не испытывала грусти: вместе с зимой приходили длинные вечера, которые она любила. Горят в печурке высушенные за лето кизяки, гудит в трубе вьюжный ветер, поет на плите чайник, посапывают уснувшие дети, а они с Цекрей сидят на кошме.

Но то было раньше, а теперь жизнь повернулась другой стороной. Что может принести с собой военная зима? Занесет снегом хотоны, заметет дороги, опустеют домашние лари, когда-то впрок наполненные мукой, плитками чая, сахаром и крупой. У многих они и сейчас уже пусты: разве кто думал, что случится такая беда? Жили одним днем: сегодня есть, значит, будет и завтра — не старое ведь время, не к хозяину-богачу идти с протянутой рукой, колхоз даст все.

Растопив печь и поставив кипятить воду, Делгир заглянула в ларь и достала оттуда сумку. Муки в сумке оставалось совсем мало, но она все же отсыпала две-три горстки, замесила тесто и, положив лепешки на сковородку, присела на кошму. Тревожно было у нее на душе, так тревожно, как никогда не было.

Вчера, вернувшись из степи, Делгир увидела вдову чабана Наймина, пройдошливую женщину с русским именем Дарья. Поздоровавшись, Дарья спросила:

— Как живешь, Делгир? Ты теперь известный человек — на митинге, говорят, выступала.

— Обыкновенный я человек, — сдержанно ответила Делгир. — И не одна я выступала на митинге. Многие женщины выступали.

— Но о тебе сам Эрдни говорил, — продолжала Дарья. — Да ты не думай, я без зависти, я рада за тебя.

Дарья знала, что Делгир никогда о ней не сплетничала и ничего плохого о ней не говорила, поэтому она относилась к Делгир по-дружески, хотя для Делгир это и не было большой честью. Но добрая по натуре Делгир не показывала и вида, что она осуждает Дарью за ее поведение. «Придет время, — думала она, — Дарья сама все поймет...»

— Трудно без мужа? По себе знаю, как трудно... Тоскуешь?

— Тоскую, — призналась Делгир. — Как не тосковать! Если бы не работа, совсем плохо было бы.

— Да, работа, — сказала Дарья. — Работа — хорошее дело. Только... — Дарья приблизилась к ней. — Как хорошему человеку, по секрету скажу... Была я на центральной усадьбе. О, дярке, что там делается! Несут люди со склада муку, крупу, плитки чая. Я спрашиваю: «Кому это дают?» А мне отвечают: «Дают тем, кто работает. И кто очень нуждается». Я говорю: «Я тоже очень нуждаюсь, хотя пока и не работаю... Мне дадут?» — «Попросишь — дадут», — говорят...

Ну, я — к Эрдни, поплачу, думаю, перед ним, слезы мои не дорого стоят. И он написал: «Выдать в счет аванса 20 килограммов муки». Когда получала, Ногала сказала: «Молодец, не растерялась. Муки осталось мало. Скоро — плачь не плачь — ничего получать не будем».

Желая убедиться, что слова ее произвели впечатление, Дарья заглянула в лицо Делгир:

— Сходила бы ты к Эрдни, пока не поздно. Если хочешь, я денек твою отару попасу.

— Спасибо тебе, Дарья. Добрая у тебя душа. Хотя люди и говорят...

— А ты не очень-то верь людям! — не дав ей договорить, воскликнула Дарья. — Плохой человек доброе слово о другом человеке не скажет... Завтра жди меня, погоню твою отару...

6

Дарья сдержала слово, на следующий день рано утром она постучалась в дверь:

— Кто поздно встает, тому бог ничего не дает! Открывай, сестра милосердная пришла к тебе.

Делгир откровенно призналась:

— Думала, не придешь. Мы никогда по-другому не были...

— Не были, так будем, — засмеялась Дарья. — Я знаешь какая хорошая! Весь свет обойди, такой не найдешь... — Она шутиливо

толкнула Делгир в плечо, взглянула на спящих детей. — Славные ребятки у тебя. А мне вот бог не дал. — И примолкла.

— Ты еще молодая, Дарья. Война кончится — замуж выйдешь.

— Ладно! — Дарья встряхнула головой, отгоняя грусть, лицо ее опять стало веселым. — Ладно, Делгир, потом мы еще потолкуем с тобой. А сейчас скачи.

...Со смутным чувством въезжала Делгир на центральную усадьбу. Ей было немного обидно: с тех пор как Цекря ушел, никто не вспомнил о ней. В то же время она понимала, что у Эрдни теперь столько забот, что он не может, как раньше, думать о каждом. Однако больше всего ее мучил стыд — не привыкла она просить.

Привязав лошадь у коновязи, Делгир, преодолевая нерешительность, направилась в контору.

— Эй, Делгир!

Она оглянулась и увидела Ногалу, заведующую складом. Это была молодая женщина, муж которой вместе с Цекрей ушел на фронт. Делгир не питала к Ногале дружеских чувств: все знали, что она нечиста на руку, хотя ловкость всякий раз спасала ее. Сейчас Делгир обрадовалась ей. «Зачем же я пойду сразу к Эрдни? — подумала Делгир. — Ногала мне все скажет... Вдруг на складе уже ничего нет? Чего ж тогда беспокоить председателя?»

— Здравствуй, Делгир! — сказала Ногала. — Как ты живешь, как твоя отара?

— Все хорошо... Спасибо тебе, Ногала. А как ты живешь?

— Я — что! — усмехнулась Ногала. — Раньше все хвалили меня: Ногала вон какую работу тянет, день и ночь не спит... А теперь только о Делгир так говорят. Заведовать складом, говорят, это каждый сумеет!..

Ногала посмеивалась, но Делгир видела по ее глазам: нет, она не шутит, она затаила обиду — закатилась слава Ногалы. Хотя и не очень-то большая слава была у заведующей колхозным складом, а все же — слава, на виду была...

На минуту забыв о своих делах, Делгир сказала:

— Ты — здоровая, сильная, зачем тебе на складе сидеть? Там и правда любой старик управится, а ты иди в степь. В степи труднее, зато на сердце легко будет...

— Да? Сейчас побегу! Я в степь, а ты на мое место. Придешь? На складе ведь и старик управится, а такой умной женщине, как ты, там и делать нечего...

— Зачем же ты сердишься, Ногала? Я не хотела тебя обидеть.

Но та уже разошлась. Видно, накишело на душе у Ногалы, не раз и не два, наверное, вспоминала она недобрым словом Делгир.

— Она не хотела меня обидеть! — Ногала картинно всплеснула руками и прищурила глаза. («Они у нее как у ящерицы», — невольно подумала Делгир.) — А кто тебе сказал, что ты сможешь меня обидеть? Если я стану обращать внимание на каждую выс-

сочку, меня и на неделю не хватит. Выскочек много, а Ногала одна! Что такое дебит-кредит, ты знаешь? Или, может быть, ты сумеешь составить для Восходджи сводную ведомость годовых остатков материальных ценностей?

Ногала умолкла, собираясь с силами для новой атаки, и оглядела с ног до головы растерявшуюся от такого неожиданного налета Делгир.

— Ты зачем приехала? Слушай меня, умная-разумная передовая Делгир Лиджиева: ничего ты здесь не урвешь, ясно тебе? Опоздала, голубушка! Пока ты славу себе зарабатывала, умные люди заботились о своих детях. Понятно? Просчиталась ты маленько. И можешь теперь идти к Эрдни, хоть к шулмусу иди — ничего не получишь. Потому что ничего уже нет.

Ногала повернулась к ней спиной и, слегка покачивая бедрами, удалилась в свой склад.

Вся красная от стыда и унижения, Делгир стояла, будто оцепенев. Она даже не сразу почувствовала, как слезы обиды потекли по ее щекам, и только когда услышала, как кто-то хлопнул дверью конторы и застучал каблуками по ступенькам, побрела, закрыв лицо руками, к коновязи.

— О, дярке, хоть бы сейчас никто меня не увидел...

Ее никто не увидел. Она вскочила на коня, и скоро ветер степи уже свистел у нее в ушах.

7

«Можно кого-то любить, — думала она, — можно не любить. Но ненавидят друг друга только враги! Только враги могут так зло: «ничего ты здесь не урвешь!..» Еще никто никогда не обижал ее так. Она все хлестала и хлестала свою неказистую лошаденку, пока та не споткнулась, не перешла на шаг и не остановилась совсем. Делгир спрыгнула на землю, прижалась головой к ее морде.

— Ну, прости меня и отдохни. Я дам тебе лепешку. Ешь, я обойдусь...

В стороне промчалась пара сайгаков. Бежали они красиво, точно плыли по воздуху. Над головой пролетела пятерка дудаков, опустилась за желтыми барханами, затем, потревоженная, снова поднялась, сделала круг и скрылась в плывущем тумане... У дальнего холма, направляясь к хотону, величественно прошагал верблюд, погромыхивая колокольцами, и, будто знакомая песня, донеслась тихая песня степи...

Потом будто ликующий хор подхватил песню — это внезапно пошел снег. Умиротворенная степь обновлялась, принимая на себя новый наряд. Этот белый наряд укрывал собою рыжие плешины, грязные лужи, ржавые гряды барханов. Степь успокаивала и приглушала обиду. Она впитывала в себя боль человека, снимала с его души тяжесть, и душа оживала.

С того места, где остановилась Делгир, был виден курган, на который любил подни-

маться Цекря. Въехав на курган, Делгир оглядела чудно преобразившуюся степь, и боль души ушла.

Она подумала: «У меня есть корова и две овцы, не пропадем. А муку и все другое разобрали из склада люди, у которых, может быть, и того нет. Не надо унывать... Может, война скоро кончится».

Она подумала: «Мой Цекря, уходя, что говорил? Верь, жди и работай! Разве это он ради слов мне сказал? Милый мой, я буду ждать тебя, растить детей, возвращайся скорей с победой!»

И еще она подумала: «Сейчас всем тяжело. Что приходится терпеть людям там, где фашисты хозяйничают, — страшно представить! И у нас в стране, и во всей Европе...»

Ей вспомнилось: за год до войны Цекря ездил на Сельскохозяйственную выставку в Москву. Сколько было радости, когда он вернулся счастливый, с подарками для всех, с рассказами, которых хватило на много дней! Какая светлая, какая полная жизнь была — это только сейчас видишь, когда беда пришла. Как ты там, мой любимый? Как твои друзья? Я их всех знаю по твоим письмам, мне кажется даже, что я вижу их, как вижу тебя. Андрей Алексеев, студент, — это он у вас самый высокий? А самый веселый у вас, наверное, капитан Лацкис. Когда, говорит, мне надо будет визуально обследовать местность, а поблизости не окажется высотки, то я тебя позову, студента того, Андрея Алексева... Мы тут все читали твое письмо и горе-

вали с вами, и смеялись, и жалели вас. У капитана Лацкиса, как видно, с глазами плохо, если он свой самолет за чужой принял. И тоже воюет человек. Милый мой, когда будет победа, ты приедешь в нашу степь со всеми своими товарищами — и с Андреем Алексеевым, и с капитаном Лацкисом, и с Витюней, с Агеевым, Дзелидзе... Обязательно сделай так. Только так — ты слышишь меня, Цекря?

И ей показалось, что она ясно услышала его голос. «Эге-ей! Делгир!»

ЗА НАМИ—ТЫЛ

Цекря приложился к винтовке и, не оглядываясь, коротко бросил Андрею:

— Становись рядом! И не торопись стрелять, жди, когда подойдут ближе.

— Слушаюсь, ваше превосходительство...

Молоденький солдат шутил, стараясь подавить страх. Цекря понимал его состояние, он сам недавно прошел через такое же: страх перед неизбежностью сковывал волю, проникал к самому сердцу. Что же, пускай шутит, так все-таки легче.

На большом участке фронта за последние дни гитлеровцам не удалось продвинуться ни на шаг, и они озверели, совсем перестали считаться с потерями. Иногда казалось, будто они уже выдохлись, стоит отбить еще одну-две атаки — и они или надолго закопаются в землю, или покатаются назад. Но атака шла за атакой, день проходил за днем, сотни трупов усеяли землю вокруг, а натиск не ослабевал. И тогда начинало казаться, что сюда, на клочок земли перед ротой Лацкиса, брошена не рота, не батальон, а целая армия, которую ни уничтожить, ни отогнать. Сознание безысходности было мучительно. Вместе с холодом и усталостью это терзало, но люди ни шагу не ступили назад.

Цекря чуть подвинулся, давая место Андрею, и указал перед собой в пространство, затуманное метелью:

— Туда смотри. И не стреляй наугад! Стреляй прицельно...

Прикрываясь метелью, немцы сначала ползли, потом встали и, пригибаясь от встречного ветра, бросились на окопы. Они беспорядочно строчили налево-направо из автоматов, что-то истошно кричали, но ветер уносил в сторону и стрельбу их, и крики. Отсюда казалось, будто они задыхаются и жадно ловят воздух открытыми ртами. Когда расстояние между ними и окопами сократилось метров до восьмидесяти—ста, Цекря сказал не терпеливо:

— Теперь давай!

Сам он прицелился и выстрелил в правого флангового. Немец, будто задумавшись, на секунду остановился, потом сделал два-три шага и рухнул в снег. А Цекря брал уже на прицел второго, который, по-заячьи виляя, приближался к окопу. Выстрел. Еще выстрел! И еще! Вражеский солдат продолжал бежать, точно заговоренный от нуля, Цекря уже видел его лицо. Хотелось упасть на дно окопа, спрятаться от бьющих в упор автоматных очередей, но Цекря понимал: поддаться страху — это конец. Фашист не станет даже прыгать в окоп, пробегая над ним, он полоснет из автомата — и все!

Теперь и фашист разглядел Цекрю. Только на мгновение они взглянули друг другу в глаза, но Цекря, кроме ненависти, успел разглядеть в глазах противника наглость и сознание своего превосходства. Близившись, враг направил автомат на Цекрю:

— Монгол капут!..

Это были его последние слова. Доля секунды потребовалась Цекре для того, чтобы чуть приподнять винтовку и нажать на спусковой крючок. Враг упал в нескольких шагах от окопа, раскинув руки и отбросив автомат в сторону.

Бой становился все жарче. На левом фланге роты взвод лейтенанта Коврова, схватившись с немцами врукопашную, нес большие потери. Не прекращая ни на минуту огонь, Цекря в то же время с тревогой поглядывал на этот фланг. Он видел, как шаг за шагом отходят наши бойцы ко второй линии траншей, а немцы все насаждают. Вот упал сам лейтенант Ковров, рухнул в снег старшина Дзелидзе. Вот гориллоподобный эсэсовец в упор расстрелял из автомата политрука Агеева...

И тогда, словно его подбросило изнутри, Цекря, крикнув Андрею: «Держись сам!», выпрыгнул из окопа, схватил автомат убитого немца и побежал к левому флангу. Он, конечно, не думал, что благодаря его помощи там может что-нибудь измениться, но, увидев, как упали Ковров и Дзелидзе, как горилла в упор полоснул по Агееву, Цекря испытал что-то похожее на удушье, ненависть захлестнула его, в эту минуту он не мог владеть собою. Чувства его обострились настолько, что ему показалось: если эти чувства сейчас же не найдут выхода в поступке, пусть даже безумном, он может сойти с ума. Он бежал напрямик, прыгая через окопы и до боли в суставах зажав в руках немецкий автомат.

Он что-то кричал, но что он кричал — этого Цекря и сам не знал. Теперь в нем жила только ярость.

Он пробежал уже половину пути, когда увидел немца, прыгнувшего в противотанковый ров.

Ни секунды не раздумывая, Цекря прыгнул вслед за ним и, подмяв его под себя коленом, прижал его горло к земле. Он мог, конечно, прошить его автоматной очередью, мог прикладом раскроить ему череп, но сейчас Цекре этого было мало. У него была потребность не только прикончить фашиста, но как бы и ощутить его смерть, увидеть ее. Только так, казалось ему, он мог избавиться от своего удушья.

Немец хрипел, в глазах его была мольба о пощаде: «Рус, я сдавайся!» И трудно сказать, что произошло бы в следующее мгновение, если бы Цекря увидел, как враг тянется за пистолетом, оброненным им. Но Цекря этого не увидел. Даже в ту минуту, когда в нем все клокотало и когда даже ему самому трудно было отыскать в себе хоть черточку того бывшего Цекри, который у себя на груди отогревал замерзших ягнят, — даже сейчас он уже не мог убить человека, если этот человек лежал перед ним поверженный и просил пощады. Возвращенное степным народом и унаследованное им чувство благородства жило в Цекре, помимо его воли и в странном соседстве с яростью. То был нравственный инстинкт охранения, охранявший его совесть.

Поверив, что немец действительно просит пощады, Цекря привстал, давая возможность подняться и ему, и в это время увидел, как тот схватил свой пистолет. При виде его коварства Цекря опять пришел в ярость:

— Хитрая собака! Хитрая злая собака!

Он выбил из рук немца пистолет и в упор полоснул в него из автомата.

Между тем к левому флангу вслед за Цекрей бежали и другие солдаты. Цекря увидел впереди себя длинную фигуру Андрея, неуклюже размахивающего винтовкой. Ярость его не утихла, но перестала быть слепой, все действия Цекри были теперь рассчитаны, мысли четки, будто до этого некая завеса мешала ему смотреть на себя со стороны. Взгляд его остановился на снарядной воронке, где двое немцев поспешно устанавливали ручной пулемет, нацеливая его на взвод лейтенанта Мирского, наседающего сейчас справа. Остерегаясь шальной пули, Цекря упал на снег, быстро, но спокойно отстегнул гранату и, сдернув предохранитель, швырнул ее в пулеметчиков. Взрыв взметнул черно-красный столб огня и земли. Кто-то, пробегая мимо, крикнул:

— Порядок, Лиджнев!

2

Отбив и эту атаку, рота капитана Лацкиса не стала преследовать противника: слишком велики были потери, чтобы капитан мог

рассчитывать на успех. Обескровленные яростным сопротивлением советских солдат, гитлеровцы тоже притихли и наконец закопались в землю. Наступила передышка, лишь изредка прерываемая редкой перестрелкой снайперов с той и с другой стороны.

В большом тыловом блиндаже («тыловой» блиндаж располагался в полукилометре от передовой), наскоро оборудованном под бытовкой комбинат, кипела жизнь, какая не часто выпадает на долю фронтовикам. Взглянув со стороны, можно бы было подумать, что здесь собрались черствые люди. День-два назад многие потеряли лучших друзей, которыми дорожили больше жизни, а сегодня они уже могут смеяться, будто и не было никаких утрат.

Но так подумать мог лишь тот, кто не испытал на себе страшного, изнуряющего напряжения боев. Пройдет время, и солдат вспомнит все до подробностей. Он увидит это так четко, будто в мозгу его сам собой проявится тот отпечаток с негатива, на котором когда-то запечатлелось им пережитое. Только тогда солдату станет страшно: как мог он выжить, как не сошел он с ума от душевной боли, салютуя над братской могилой тому, кто был ему другом?

Но это — потом. А сейчас солдат смеется, иначе ему нельзя. Ему надо хоть на короткое время сбросить с себя груз. Ему надо тоску и боль растворить в шутке, чтобы забыться и дать отдых душе.

Из каждого взвода одновременно отпускали только по три-четыре человека. Войдя в блиндаж, солдаты в первую очередь попадали в руки самодельных парикмахеров, потом в прачечную, где наскоро стирали белье и гимнастерки, затем шли в баню и после всего попадали в соединенную с блиндажом землянку, где писали письма и где взводные и ротные остряки состязались в искусстве «трепа». Собственно говоря, «великий треп» шел в каждой службе, а в парикмахерской особенно, потому что здесь всегда была очередь.

Цекря еще и наполовину не спустился в блиндаж, а до него уже донесся не то что смех, а дикий рев, будто люди там потеряли рассудок. Но стоило ему открыть дверь и войти, как сразу все стихло, и только бронебойщик Чумаков, продолжая начатый им рассказ, делал вид, что не замечает Цекри:

— Ну, вот... Когда, значит, Лиджиев прыгнул в окоп и увидел там немца, он, понятное дело, не растерялся и спрашивает как ни в чем не бывало: «Вы, господин немец, что тут делаете?» А немец отвечает: «Да так, господин солдат, завернул сюда по нужде, что-то брюхо мое расстроилось. Вы не будете возражать, если я тут это самое?..» — «Ни в каком разе возражать не буду, — говорит Лиджиев. — Я, понимаете, и сам по такому же делу сюда заглянул. У вас покурить не найдется?» — «Для хорошего человека покурить всегда найдется, — вежливенько улы-

бается фриц. — Пожалуйста вам сигару, гаванской называется. Люкс-класс... Употребляете такие?» — «Только такие и употребляю, господин немецкий солдат, — отвечает наш Лиджиев. — К другим, вы уж извините, не привык, в силу своего культурного воспитания...»

Чумаков, в чем мать родила, сидел на табуретке, заложив ногу за ногу, и дымил сигаркой толщиной в два пальца. Рядом с ним, тоже в «костюме Адама», расположился пулеметчик Дышло, простоватый, заросший рыжей щетиной украинец. На его лице было написано такое неподдельное удовольствие, что нельзя было смотреть без смеха. Боясь проронить хоть слово из рассказа Чумакова, он молчал, но поза его, глаза и даже пальцы, которыми он барабанил по коленям, выражали нетерпение: «Ну, а дальше? Что же дальше-то?»

Чумаков не торопился, ему льстило обшее внимание, он хотел продлить эту минуту. Наконец кто-то из тех, кто скоро должен был садиться под бритву парикмахера (немецкий остро отточенный тесак), не выдержал:

— Не тяни, Чумак!

Цекря, не желая мешать рассказчику (пусть солдаты посмеются!), стоял молча, делая вид, будто не догадывается, что его уже давно заметили...

Протянув наполовину выкуренную сигарку одному из парикмахеров, Чумаков снова начал:

— Ну, сняли, значит, они солдатские ремни, сели рядышком, сидят. У фрица и вправду брюхо расстроено, потому как производятся частые выхлопы. А Лиджиев, понимаете, думает, что это соответствующие залпы наших артиллеристов. «Слышишь, — говорит он фрицу, — наши стреляют? Давай, господин немецкий солдат, заканчивай свои дела, в плен пойдем...» — «Не ваши стреляют, а наши, господин русский солдат, — отвечает фриц. — Поэтому не вы меня, а мы вас в плен приглашаем». Лиджиеву делать остается нечего, пошел он в плен... Сегодня капитан будет боевую группу посылать на выручку. Ты как, Дышло, пойдешь?

— Га?

Дышло задал свой вопрос так непосредственно, что кругом грохнуло. Смеялся и Цекря, на минуту ему показалось, будто он перенесся в родную степь, в круг своих друзей, где тоже, бывало, собравшись вечером в походной кибитке, чабаны шеголяли друг перед другом искусством выдумывать истории. Показалось, что ни войны, ни страданий, ни утрат...

Дверь в блиндаж снова открылась, и на пороге показался маленький, похожий на мальчишку минер Виктор Сабанеев. У него и лицо было, как у мальчишки: вздернутый с веснушками носик, похожий на воробьиное яичко, большие серые глаза, в которых застыло ребяческое любопытство, и слегка оттопыренные уши. За эту его внешность, а может, за то, что Сабанеев просто и надолго

привязывался к людям, все его называли Витюней. Войдя в блиндаж и взглянув на голую компанию, Сабанеев звонко крикнул:

— Привет сынам Запорожской Сечи!

Никто ему не ответил, так как все были заняты Чумаковым.

— Да-а, было дело! — говорил Чумаков. — Гляжу я, а немец хап Витюню под мышку и понес. Витюня, конечно, брыкается, визжит, как поросенок, а немец и в ус не дует: «Не пищи, киндер, я тебе конфету дам...»

Сабанеев засмеялся:

— Понятно! Чумак ведет треп...

В это время в блиндаж, запыхавшись, влетел старшина Загоров:

— Лиджиев, Сабанеев, Малыгин — к командиру роты! Срочно!

— А я только вошел, — сказал Витюня. — Разрешите хоть ополоснуться, товарищ старшина...

— Отставить разговорчики!

3

В блиндаже капитана Лацкиса собрались человек десять солдат, командиры взводов и два незнакомых Цекре офицера: один молодой, с черными усиками майор, второй — пожилой человек с седыми волосами без знаков различия. По тому, как он быстро окинул взглядом стоявших перед ним людей, как

бросал короткие замечания Лацкису и точными движениями указывал им на точки и линии на карте, можно было понять, что этот человек привык командовать. Когда в блиндаж вошел старшина и доложил, что все в сборе, седой человек обратился к Лацкису:

— Начинайте, капитан.

Лацкис отодвинул от себя медную гильзу, служившую здесь светильником.

— Товарищи, командование полка возлагает на нас ответственную задачу. Противник, натолкнувшись на нашу стойкость, в последние дни прекратил атаки и закопался в землю. Однако мы не должны позволить ему отсиживаться в теплых блиндажах и накапливать силы. Его надо выкуривать на мороз и гнать с нашей земли. Для того чтобы делать это с наименьшими потерями, мы должны хорошо знать систему его обороны, расположение огневых точек и его намерения. Многого мы знаем. Но чем больше мы соберем сведений о противнике, тем яснее станет картина. Командование решило создать особые поисковые группы из наиболее опытных и храбрых солдат. Задача поисковых групп — захватывать «языков». Сейчас начальник полковой разведки ознакомит вас с обстановкой.

Майор взглянул на седого человека:

— Разрешите?

Тот кивнул:

— Да, пожалуйста. Пусть товарищи сядут. И разрешите им курить, а то у них уши припухнут...

Он положил на стол пачку папирос, которая вмиг опустела. Гость засмеялся, обращаясь к Лацкису:

— Теперь я вижу, вы не ошиблись в подборе людей, капитан. Такие ничего не упустят...

Шутка разрядила атмосферу, солдаты почувствовали себя свободнее, рассаживаясь по ящикам и скамейкам, они и сами уже перебрасывались шутками.

Совсем рассветало, когда побледневший от табачного дыма и усталости начальник полковой разведки сказал:

— Если у кого есть вопросы — прошу! Помните, что там, — он махнул рукой в сторону противника, — там ошибаться нельзя. А сейчас, старшина, обеспечьте солдатам отдых. Все, товарищи!

Слева, метрах в пятистах от места, где в белых масках лежали, зарывшись в снег, Цекря и Сабанеев, земля вздрогнула от залпа орудий. Ураганный ветер на куски разрывал канонаду, но Цекре казалось, что земля гудит беспрестанно, будто в недрах ее klokoчет лава. Косые нити снега были похожи на пулеметные трассы. Вьюга ревела, неистовствовала, крутила смерчи. Не утихая ни на минуту, гремели орудия. Поднеся часы со светящимся циферблатом к глазам, Цекря сказал Сабанееву:

— Осталось две минуты.

— Есть!

Сабанеев тоже взглянул на часы и стал считать секунды. Но все же он вздрогнул от неожиданности, когда Цекря толкнул его в бок:

— Айда!

Не очень-то уютно было лежать в снегу и дрожать, а все же это короткое слово «айда» отдалось в самом сердце, и Сабанееву показалось, что он не может сдвинуться с места. Еще бы надо помедлить, хоть бы несколько секунд, ведь тут все свое, здесь за спиной — товарищи, а там... Кто знает, что тебя ожидает там?

— Айда! — снова повторил Цекря и, не оглядываясь, пополз вперед.

Снаряды теперь рвались в глубине вражеской обороны, и гул постепенно стихал. Было похоже, что вместе с канонадой начинается стихать и ураган. Цекря не сразу заметил, как Сабанеев оказался впереди, маленький, юркий, он полз почти без усилий. Изредка минер останавливался, приподнимал голову, всматриваясь в снежную муть, и полз дальше. Время от времени он предостерегающе поднимал руку: «Замри!» Цекря повиновался, а Витюня в это время снимал рукавицы и, зажав дыхание, ощупывал снег. Длинные нервные пальцы его живо бегали, иногда он подносил их ко рту, горячо дышал на них и снова ощупывал снег. Цекре было томительно, ему хотелось крикнуть: «Чего ты застрял?» Но он молчал, зная, что Витюня — лучший минер полка, что у него обостренное чутье, что он отыскивает мины в таких местах, где другой ми-

нер и не подумал бы их искать. Проходила минута, другая, затем короткий взмах руки, и Сабанеев опять полз дальше, его белый маскхалат сливался со снегом, Цекря уже стал бояться, как бы не потерять его из виду.

Но вот наконец они подползли к заграждению из колючей проволоки. В одном месте она совсем была замечена снегом, и лазутчики без особого труда переползли на ту сторону. Тут они увидели совсем еще свежую воронку.

— Давай туда! — прошептал Цекря.

Им надо было передохнуть, собраться с силами и осмотреться. Над головой в мутном небе повисли несколько осветительных ракет. Свет от них был призрачен и неяркий, он поглощался пургой, но все же местность вокруг просматривалась хорошо, и Цекря решил воспользоваться этим. Он быстро вскочил и высунул голову. Он, конечно, рисковал, но это был оправданный риск.

Через минуту ракеты погасли, словно растворяясь в снежной мгле, но Цекря успел увидеть многое. Метрах в ста от своей воронки увидел он немецкий окоп, закрытый сверху ветками и занесенный снегом. С нашей стороны этот окоп казался холмом. Увидел он и часового. В тулупе, укутанный женской шалью, он стоял, опершись на винтовку, съезжившись на морозе и притоптывая. Чуть подальше Цекря увидел дот, тоже похожий на заметенный холм, а еще дальше, в небольшой ложине, наполовину забитой снегом, сто-

ял блиндаж, судя по всему, КП. Часового у блиндажа не было, видно зашел погреться и покурить...

«Там и надо попытаться счастья», — подумал Цекря. Он принял решение: Сабанеев пусть остается в воронке, в случае чего прикроет отход, а сам он подползет к блиндажу и будет ждать. Хоть до утра будет ждать, а дождется!

Он залег в десяти—пятнадцати шагах от блиндажа между двумя небольшими сугробами и взглянул на часы. Двадцать три пятнадцать...

Сколько ему предстоит тут лежать? Когда ползли, холода не чувствовалось, а сейчас мороз сразу же охватил все тело. Витюне, пожалуй, легче, в воронке все-таки затишье. Это и хорошо, щуплый он...

Двадцать три сорок... Пурга опять стала усиливаться. Если не шевелиться, над тобой вырастет сугроб. Вот и пускай, снег защитит от ветра, и для маскировки хорошо. Опять взметнулись ракеты, и в ту же минуту из блиндажа вышел солдат. Он огляделся, сделал несколько шагов в сторону Цекри, остановился... Увидел или нет? Цекря перестал дышать. Желание вскочить и броситься казалось неодолимым, но Цекря помнил наказ: «Там нельзя ошибаться!» Если он бросится сейчас, тот успеет выстрелить, и тогда не сделаешь и шага, как тебя прошьют автоматными очередями.

Солдат, кажется, ничего не заметил. Постоял, озираясь по сторонам, и снова пошел к блиндажу. Вот теперь и пора бы налететь на него сзади, мертвой хваткой схватить за горло, оглушить, забить кляп в рот — и домой!

«За отличное выполнение боевого задания объявляю вам, Цекря Лиджиев, благодарность и представляю к правительственной награде!» — «Служу Советскому Союзу! Спасибо, товарищ капитан!»

Нет, надо лежать. Ты же видишь, Цекря Лиджиев, что это — рядовой солдат, серая пешка. Что он знает? За него думает фюрер... Замри, Цекря!

Ноль часов пятьдесят пять минут... Пурга неожиданно стихла, одна за другой появились на небе звезды, и стало еще холодней, будто ты попал в Заполярье, где от мороза, говорят, стынет кровь... Ни один гад не появляется из блиндажа, подошли они там, что ли? Надо все-таки было брать того солдата, никто ведь не говорил, что «языком» должен быть обязательно офицер. Жди теперь с моря погоды. Придешь с пустыми руками, капитан скажет: «Что ж так плохо, товарищ Лиджиев? А я-то надеялся на вас, хотел даже в разведчики перевести...» А может, и ничего не скажет, посмотрит-посмотрит и отвернется: чего ждать от такого, как Цекря Лиджиев?

...Два часа ночи. Цекря уже не чувствовал своего тела, ему теперь даже не было холодно, все в нем застыло. Ему казалось:

здесь между сугробами, лежат два Цекри Лиджиева: один поглядывает на часы, прислушивается, что-то вспоминает, но это бесплотные мысли, не заключенные ни в какую оболочку; другой же Цекря Лиджиев мертв. Вот его руки, ноги, туловище, но все это оболочка, внутри которой ничего нет. Кто из этих двух настоящий, а кто выдуманный самим Цекрей — этого Лиджиев не знал. Да и черт с ним, ему на это наплевать! Все труднее становилось не впасть в забытье... Чтобы не уснуть, Цекря стал считать. «Тридцать семь, тридцать восемь... Как он там без меня, этот сорванец Анджа? Небось день и ночь только и делает, что скачет по степи на коне... А Делгир в это время ломает руки: «Куда он запропастился? Не дай бог, свалится с коня, что тогда будет? Тридцать девять... Делгир спит. Намайлась за день с отарой, кое-как доплелась домой и без сил свалилась. «Цекря, ты слышишь меня?» О, дярке, она же где-то совсем близко, иначе как бы он мог расслышать ее голос? Вот опять: «Цекря, ты слышишь меня?» — «Эгейей, Делгир!..»

Цекря открыл глаза и взглянул на блиндаж: тишина, ни шороха. Половина третьего, надо что-то делать, рассветет, увидят его — вот так картинка будет: Цекря Лиджиев пошел за языком и сам влип. Он, конечно, не дастся в руки живым, будет отбиваться, а когда кончатся патроны, взорвет себя гранатой. Но кто об этом узнает? Не станут же фрицы писать капитану Лацкису, как погиб солдат Цекря Лиджиев! А жене коман-

дование сообщит: «Ваш муж пропал без вести».

— О, яглав! — прошептал Цекря. — Почему я не брал того солдата!

Офицер вышел из блиндажа так неожиданно, что Цекря даже не сразу увидел его. И только когда рядом заскрипел снег и кто-то негромко кашлянул, он очнулся и осторожно выглянул из-за своего укрытия.

Да, это был офицер, Цекря не мог ошибиться: снег излучал много света, и Цекря без особого труда разглядел на теплом кожаном пальто офицерские погоны и пистолет на широком ремне. Такой удачи Лиджиев не ожидал! Теперь надо было не зевать, теперь, как говорит Чумаков, — «или пан, или пропал».

Закурив, немец пошел в направлении окопа, укрытого ветками, наверное, решил проверить посты. Шел он, не озираясь. «Не из пугливых, — следил за ним Цекря. — Настоящий волк!» У него возникло решение отпустить офицера подальше от блиндажа, но не дать ему возможности приблизиться к окопу настолько, чтобы оттуда могли что-нибудь услышать. Цекря отлично понимал: не так-то легко ему будет справиться с офицером, дешево свою жизнь он не продаст.

Набросив на голову капюшон маскхалата и проверив, на месте ли заткнутый за валежник нож, Цекря пополз вслед. Он полз совсем бесшумно, а ему казалось, что на сто

верст вокруг слышно, как скрипит под ним снег. Он даже удивлялся, почему офицер ни разу не оглянулся, почему он идет себе да идет. Перелез через небольшой сугроб, оставившись, кажется, потухла сигарета, сейчас вытащит зажигалку, начнет прикуривать. Наглые, сволочи! Прикурил, дальше пошел. Пускай идет. Вон до того сугроба — это как раз на половине пути от блиндажа к окопу. Хороший сугроб! Если Цекре удастся подползти к нему вовремя, все будет в порядке...

У сугроба офицер остановился: раздумывал, наверное, перелезть через него или обойти. Хорошо, если бы стал обходить, тогда можно будет броском вырваться вперед и затаиться за сугробом. Черт бы его побрал, он шагнул прямо! Шагнул, провалился по пояс, выругался, но не вернулся, а полез дальше.

Теперь — пора!

Пожалуй, никто не мог ходить так бесшумно, как Цекря Лиджиев. Он даже не старался этого делать, получалось само собой.

Сколько раз он, сам того не желая, пугал Делгир. Стоит она, бывало, у колодца, а Цекря подойдет к ней неслышной походкой и положит руку ей на плечо: «Делгир...» Она даже побледнеет, бедняга, до того испугается: «Когда-нибудь ты меня на тот свет отправишь!»

Сейчас, делая бросок, он как бы не касался земли. В два-три прыжка достигнув

сугроба, он уже собирался броситься на офицера, когда тот, почуяв опасность, оглянулся и оцепенел от неожиданности. Но уже через мгновение он быстро, заученным движением, хлопнул рукой по кобуре, и тогда Цекря прыгнул на него, сбил с ног, вдавил его голову в снег. Отчаянно сопротивляясь, офицер с такой силой ударил Цекрю в пах, что у того потемнело в глазах. Цекря успел выхватить нож.

— Гад, собака!

Но Цекря все же умел владеть своими чувствами. Мертвый фашист — это, конечно, хорошо, но ведь он, Цекря, шел сюда не за этим, капитану Лацкису нужен живой «язык», а не труп.

Увидев над собой занесенный нож, офицер закрыл глаза и быстро заговорил что-то по-немецки.

— Чш-ш! — Цекря резко рванул офицера за руку, заламывая ее за спину. — Ни звука, или капут!

Может быть, тот и закричал бы, но Цекря с такой быстротой сунул ему кляп в рот, что тот не успел и звука издать.

— Вставай, — приказал Цекря. — Ну!

Офицер поднялся, косясь на собственный пистолет в руке Цекри. Во всей его фигуре была теперь только покорность судьбе, что-то жалкое было, просящее. Понуро опустив голову, он стоял перед Цекрей растерянный и подавленный. Покорность его не могла вызвать в Цекре даже искры сочувствия, но она усыпила его бдительность. Цекря ведь не был

опытным разведчиком, он еще не привык к коварству врага, а схватка в окопе с другим немцем хотя и научила его кое-чему, но глупого следа в нем не оставила.

— Шагай! — шепотом сказал он немцу, указывая пистолетом в направлении воронки, в которой находился Сабанеев.

Офицер сделал шаг, второй, затем стремительно прыгнул в сторону и побежал обратно к блиндажу, загружая в сугробах и с легкостью выкарабкиваясь из них даже со связанными руками. «Надо стрелять! — мелькнула мысль. — Надо стрелять, иначе уйдет!» И не стрелял.

Вместо этого, сбросив валенки, Цекря побежал следом. Потерялись портянки, снег полоснул холодом по ногам, но Цекря все бежал.

Он сбил офицера в полусотне шагов от блиндажа, затем рукояткой пистолета с силой ударил его по голове, тот обмяк, сдавленно сквозь кляп застонал и затих. Цекря взвалил его на спину и пополз к воронке. Ему надо было бы хоть минуту передохнуть, но он ни о чем не мог думать, все мысли его сошлись на одном: как можно скорей назад, слишком долго он провозился с этим немцем, ведь там, в блиндаже, могут заподозрить недоброе, могут кинуться искать своего офицера, и тогда... Черт, где же Сабанеев, заснул он, что ли?

Цекря тихонько свистнул и прислушался. Никакого ответа. Острая тревога за Витюню кольнула в сердце, и он, сбросив немца в

снег, рванулся к воронке, поминутно оглядываясь. Теперь ноги жгло так, будто он шел не по снегу, а по раскаленному железу. Однако о том, чтобы вернуться за валенками, он и не подумал, какие там к дьяволу валенки!

Сабанеев, почти весь занесенный снегом, лежал в воронке без движения. В первое мгновение Цекре показалось, что его друг уже мертв, но когда он прислонился щекой к его губам и почувствовал дыхание, ему сразу стало легко. Поглядывая на лежащего поодаль пленника, Цекря схватил горсть снега и стал растирать Витюне лицо. Потом он встряхнул его раз, другой, Сабанеев медленно открыл глаза и бессмысленно посмотрел на Лиджиева.

— Ну, вставай! Немцы рядом!

На этот раз он встряхнул его так, что тот клацнул зубами. Это привело Витюню к себе, он совсем очнулся и виновато заморгал:

— Как же это я?!

Уже перевалив заграждение из колючей проволоки, Витюня стащил с офицера сапоги, и Цекря с трудом сунул в них совсем закованные ноги. Сабанеев пожаловался:

— Не чую рук... Обморозил, что ли!..

— Ты что, заснул в воронке?

— Не помню, — ответил Витюня. — Разная чертовщина лезла в голову... Потом будто куда-то провалился... Дай-ка я сниму с себя портянки, обмотаю фрицу ноги... Человек все ж...

— Человек?

Цекря нехорошо выругался и взглянул на Сабанеева так, точно хотел ударить его. Потом он все же сказал:

— Ладно, давай...

Майор фон Традтен никак не мог ответить самому себе: это страшный сон или еще более страшная действительность? Дикая боль в голове беспокоила майора меньше, чем этот вопрос. Он часто впадал в беспамятство. Придя наконец в себя, он огляделся и увидел мужчину и женщину в белых халатах. Мужчина спросил:

— Как самочувствие, господин майор?

— Благодарю вас, — преодолевая боль, ответил фон Традтен. — Вы... можете объяснить... что со мной?

— Об этом узнаете позже.

Это, конечно, врач, подумал майор. И, безусловно, немецкий врач, — его произношение не оставляет сомнений. Однако откуда на передовой линии, куда его послал для инспекции генерал, — откуда здесь госпиталь? Проходил час за часом, и перед глазами майора все яснее представала картина, в которую он не хотел верить: ночь, страшный русский мороз, лицо монгола... «Это нехороший сон, — убеждал себя фон Традтен. — Наверное, я попал под бомбежку, меня контузило, потом беспамятство — и этот кошмар. Надо вызвать врача...»

Но когда за ним пришли и как только он увидел русского лейтенанта и двух солдат с автоматами, ему все стало ясно.

В жарко натопленной землянке, куда его ввели, сидели начальник полковой разведки, седой полковой комиссар без знаков различия, капитан Лацкис и переводчик.

— Спросите у пленного, готов ли он отвечать на вопросы.

Однако прежде чем переводчик успел произнести хоть слово, фон Традтен сказал:

— Я в достаточной степени объясняюсь по-русски.

— Это хорошо, — без тени удивления сказал полковой комиссар. — Это облегчит нашу задачу. Прежде чем начать беседу, хочу сказать вам следующее. По международной конвенции воюющие стороны обязаны относиться к военнопленным с должной гуманностью. Немецкое командование положения этой конвенции грубо растоптало. Вы понимаете, господин майор, что при сложившихся обстоятельствах мы также не можем гарантировать вам, мягко выражаясь, удобств...

— Понимаю... Вы меня расстреляете?

Полковой комиссар пожал плечами.

— Мы имеем право вас расстрелять как военного преступника.

— А если я дам вам сведения, которые вас интересуют? Но в таком случае меня расстреляют свои: фюрер не прощает измены. Согласитесь, что умереть солдатом почетнее, чем умереть изменником.

— Разве изменить фюреру труднее, чем изменить своему народу?

— Не совсем понимаю...

— Разве вы не предали свой народ, поставив его на грань катастрофы? — спросил комиссар. — У русских есть пословица: «Посеешь ветер — пожнешь бурю». Придет время, и немецкий народ потребует от вас ответа за все. У вас, господин майор, есть возможность поразмышлять над этим.

Фон Традтен молчал. Его поразила убежденность этого седоволосого русского. «Придет время, и немецкий народ потребует от вас ответа...» Он верит, что такое время придет? Он верит в это, несмотря на то, что германская армия так глубоко проникла в глубь России? Но верят ли в это простые солдаты в обмотках? По косвенной ассоциации фон Традтен взглянул на свои ноги в огромных, неуклюжих валенках и усмехнулся: солдат всегда остается солдатом, к какой бы армии он ни принадлежал. Если есть возможность содрать что-нибудь с пленного, он этой возможности не упустит...

Полковой комиссар, заметив его усмешку, поднял телефонную трубку:

— Солдата Лиджиева.

Через минуту в блиндаж вошел Цекря, держа в руках сапоги своего пленника. Доложив комиссару о себе, он некоторое время стоял в нерешительности, потом шагнул к немцу и бросил к его ногам сапоги.

— Вот... Нужда была, временно было взято...

Фон Традтен встал. Это был тот самый солдат: монгольское лицо, хрипловатый голос, гибкая фигура, сильные плечи и руки...

Черт подери, такому противнику не так уж стыдно проиграть схватку!

Лиджиев спокойно и открыто улыбался, как человек, у которого чистая совесть и вера во что-то такое большое, чего не понять было его врагу.

— Вы можете идти, товарищ Лиджиев.

Цекря откозырял, круто повернулся и вышел.

— Вы не ошиблись, — взглянув на пленного, сказал комиссар. — Это он.

— Да, это он... — рассеянно проговорил майор. — Я узнал его...

ТЫЛА НЕТ

«Не грусти, Делгир, я всегда с тобой. Трудно сейчас, потому так редко пишу. Тяжелые бои, каждый день смерть уносит друзей. Но ты не грусти!»

Легко сказать — не грусти! Ты спишь мне каждую ночь, и тоска по тебе уже вошла в мою кровь. То я чувствую твои губы, пахнущие горьким полыньком, то покажется, что твои руки сжали мне плечи, а мне и больно и радостно. А то вдруг увижу тебя в крови, ты лежишь на снегу, раскинув руки, и смерть застыла в твоих глазах. Но эту самую страшную мысль я гоню от себя. Я верю, что ты жив и что вернешься. «Майор фон Традтен сообщил важные сведения. Вместе с другими сведениями, полученными дивизионной разведкой, они помогли нашему командованию провести военную операцию на большом участке фронта». Милый ты мой человек, если бы ты знал, как я горжусь тобой! Твои письма я знаю наизусть — все, что в них написано, и даже то, чего в них не написано, но можно легко представить.

Вот я вижу ясно: вас выстроили в рощице недалеко от передовой, поставили перед строем стол, писарь разложил документы. Я вижу ясно: на боевое знамя тихо опускаются хлопья снега, идут чередой низкие облака, а поверх облаков, обгоняя их, летят на запад наши самолеты. Я слышу ясно, как полковой комиссар говорит речь. Он говорит о доблести, о верности Родине и народу. Он

говорит: миф о непобедимости немецкой армии развеян, наши воины на фронте и партизаны в тылу днем и ночью громят фашистских захватчиков. Ты стоишь в строю награжденных, и все же тебе не верится, когда очередь доходит и до тебя.

— Рядовой Цекря Лиджиев, два шага вперед!

Тебя толкает сзади твой Витюня Сабанев, и ты выходишь.

— За успешное выполнение боевого задания, за находчивость, мужество, храбрость и преданность социалистической Родине рядовой Цекря Лиджиев награждается орденом Красной Звезды.

Что ты чувствовал в этот момент? Радость охватила тебя, как жар, но ты ее удержал в себе. Ты только сказал:

— Служу Советскому Союзу.

Тебе хотелось обнять и расцеловать капитана Лацкиса и всех своих товарищей, но ведь это было бы совсем-совсем недостойно солдата, и ты только сказал:

— Служу Советскому Союзу.

А может быть, ты вспомнил меня, наших детей, нашу степь и как мы пели с тобой:

Я степь свою славлю за то, что она
Одна мне на свете такая дана.
Подайте мне тыщу заморских степей,
Без степи моей — это тыща цепей.

Но ты, конечно, не мог в тот момент говорить о чем бы то ни было, что не предусмотрено уставом. И ты сказал:

— Служу Советскому Союзу!

Ты сокол мой светлый, ты лучше всех. И что в сравнении с тобой какой-то Манкир, с которым ты когда-то соперничал! Совсем недавно он приходил ко мне. Жалкий человек...

Манкир был сверстником Цекри, но в армию его не взяли: колхоз добился для него брони. Никто этому не удивился и никто за это его не осудил: Манкир был трактористом и мастером на все руки. Случится ли что с сенокосилкой, с автомашиной, закапризничает ли движок на колхозной электростанции — сразу к Манкиру: «Выручай, Манджиев!» И тот выручает. Все ему давалось просто, на жизнь он смотрел легко, словно все в жизни предназначалось только для него, для его, Манкира Манджиева, удовольствия.

Однажды, когда Цекря и Манкир еще бегали за девушками, они, хотя и считались друзьями, крепко поссорились.

Шли они как-то по степи и недалеко от хотона увидели девочку лет шестнадцати, с косой до пояса, остановились и раскрыли рты от удивления: откуда такая взялась? Остановилась и девушка: усмешка, ни малюго смущения в лице и даже что-то вызывающее, дерзкое.

— Ого! — обрел наконец дар речи Манкир. — Погляди, Цекря, на ее ресницы. Хлоп-хлоп, вот-вот прихлопнет.

— Ротозеев прихлопнуть нетрудно, — отбрила девчонка.

Манкир икнул от неожиданности: отпора он, конечно, не ожидал. Он вспылил:

— Ну-ну, ты легче! Не очень заговаривайся, а то...

— А то что будет? — шагнула девчонка к Манкиру. — Что будет?

— По шее заработаешь, вот что, — пообещал ей Манкир.

— Дурак бескультурный, — отрезала та. — Где ты видел, чтобы женщин били? Ты что, при баях живешь? Или сам бай?

Она повернулась и не торопясь пошла. Вот тогда-то и началась ссора между друзьями. Манджиев стал кричать: «Надо догнать и отлупить ее! С каких пор калмычкам позволено оскорблять мужчин?»

— Она правильно сказала, — возразил ему Цекря. — Правильно сказала, что ты дурак. Чем женщина хуже мужчины?

Манкир рассвирепел:

— Ты хочешь, чтобы я набил тебе морду? Возьми свои слова назад!

— Не кричи, Манкир, — спокойно осадил его Цекря. — Поумней лучше. А насчет мордобития... У палки, как русские говорят, два конца.

Прошло много времени, оба они повзрослели, забыли прежние обиды и, казалось, вновь стали друзьями, как однажды опять между ними пробежала кошка. Нежданно-негаданно Манкир заявил Цекре:

— Я решил жениться на Делгир.

Цекря обомлел: Делгир уже год считалась его невестой, было условлено, что весной они поженятся, неужели Делгир за его спиной вела двойную игру?

— Она дала тебе согласие?

Манкир рассмеялся:

— Согласие? Или ты думаешь, если Манкир скажет девушке: «Пойдем со мной», то девушка откажет?

И тогда в свою очередь рассмеялся Цекря.

— Каким ты был дураком, Манкир, таким и остался. Разве ты не знаешь, что Делгир моя невеста?

— Меня это не касается, я сказал, и точка! Если хочешь, приходи на свадьбу...

Он был уверен в себе. Кто такой Цекря? Простой чабан, каких тысячи, а Манкир хоть и молод, а уже известный механизатор, переодвик, на районном активе в президиуме сидел, весь хотон говорил об этом! Или, может, Цекря красивей Манкира? Ха, сказать такое людям — люди со смеху помрут! Каким был дураком Манкир, таким и остался... Ну что ж, посмотрим!

В тот же вечер, принарядившись и выпив для бодрости стакан арьки, Манкир отправился к Делгир. Услыша ее спокойное, но твердое «нет!», он не поверил ей, подумал, что шутит. Может, решила поломаться для приличия? Не очень-то ведь удобно сразу кидаться на шею человеку, даже если этот человек — сам Манкир.

Но Делгир еще и еще повторила:

— Нет, Манкир! Я люблю Цекрю. Я буду его женой...

Тогда он пришел в бешенство. Он долго кричал и грозил, что Делгир еще пожалеет об этом. А потом ушел.

Зло свое Манкир перенес теперь и на Цекрю. Встречаясь с ним, он делал вид, что не замечает его, за глаза высмеивал его, как только мог.

Про Делгир он никогда не забывал, хотя даже себе самому боялся признаться, что она как вошла однажды в его жизнь, так и осталась.

И вот он стоит перед нею. По привычке Манкир насмешливо улыбался, но в глазах его была тревога.

— Здравствуй, Делгир. Вот ехал мимо, решил зайти обогреться. Надеюсь не прогонишь?

Делгир указала ему на табуретку:

— Садись, Манкир. В степи нет обычая прогонять путников. Только не мимо ты ехал, Манкир.

— Может, и не мимо. — Он не смутился, хотя не очень-то было приятно, что она разгадала его уловку. — Может, и не мимо, — повторил он. — А если к тебе приехал, то плохо это?

— Смотря зачем приехал...

— Сейчас такое время, когда каждый о другом заботиться должен... Как живешь, Делгир? Плохо тебе?

Улыбка искривила ее губы, и Манкиру подумалось, что не надо было спрашивать об этом, все равно она сейчас скажет: «Хорошо живу». Но она сказала:

— Плохо живу, Манкир, трудно мне без Цекри. Вот смотри, — она показала ему на несколько пшеничных лепешек в миске. — Это все, что у меня осталось. Зима кончится не скоро, да и весна много не даст...

— Что о Цекре слышно, — поинтересовался Манкир. — Часто ли пишет?

Делгир покачала головой:

— Одно письмецо за все время, три месяца прошло с тех пор... — И опять горькая улыбка искривила ее губы.

— Сниму-ка я свою шубу, — сказал Манкир. — Жарко что-то...

Делгир ничего не ответила.

Он сбросил шубу, даже пиджак снял. Если бы Делгир взглянула на него в эту минуту, она, наверное, испугалась бы его вида. Но она не смотрела на Манкира. Стоя у окна, она смотрела в степь, где мела поземка. Ветер срывал с сугробов слои снега и гнал их на восток, длинные белые змеи ползли, извиваясь и обгоняя друг друга. Небо быстро темнело, и хотя до наступления ночи было еще далеко, мгла уже окутывала степь. Черные тучи упали на заснеженные холмы, закрыли горизонт. «Быть пурге», — с тревогой подумала Делгир. Сильна была ее тревога за отару, которую Дарья погнала в степь. Немало страшных бед может натворить стихия.

Манкир подошел неслышно.

— Делгир!

Только теперь она почувствовала его руки на своих плечах. Как он посмел? Она-то сразу поняла, что его участие к ней фальшиво, и если она невольно и открылась ему, так это лишь потому, что трудно удержать в себе наблевшее. Трудно замкнуться в себе, как улитке в раковине. А он что подумал? Не оборачиваясь и внешне спокойно, Делгир сказала:

— Убери руки, Манкир!

Если бы Манкир обладал хоть какой-нибудь чуткостью, он за этим спокойствием уловил бы негодование. Но Манкир был глух и слеп.

— Пойдем на кошму, Делгир, — горячо прошептал он, крепко сжимая ее плечи. — Пойдем!

Она резко обернулась, и он увидел ее глаза. И без того темные, сейчас они так почернели от гнева, будто в них вошла ночь. Он испуганно попятился к стене. Делгир с такой силой ударила его по лицу, что он, не ожидая этого, стукнулся головой о стенку и вскрикнул от боли. Вот она какая! Двадцать пять лет Манкир Манджиев прожил на белом свете, и до сих пор ни одна рука не коснулась его лица, а эта злая кошка осмелилась его ударить! Может, надеется, что Манкир Манджиев каждый раз будет прощать ей? Плохо она знает Манкира Манджиева! Расставив руки, он пошел на нее, что-то бесвязно бормоча и не спуская с нее глаз. Он

был похож на зверя: весь взъерошенный, злой, с мутными от ярости глазами, казалось, ничего в нем не осталось человеческого. «Он убьет меня...» — невольно подумала Делгир. Она хотела броситься к двери, но Манкир, угадав ее намерение, преградил ей дорогу.

— От Манкира Манджиева не убежишь! Но не бойся, бить я тебя не стану. Кричать ты не будешь: все равно никто не услышит. Да и зачем кричать?

Он опять двинулся к ней, и Делгир, приклонясь к стене, закрыла лицо руками.

— Я знала, что ты нехороший человек. Но что ты зверь — этого я не знала. Ты сильный, ты, конечно, можешь со мной сделать все. Но посмотри вон туда, Манкир, видишь? Это ружье Цекри. На ложе двадцать семь зарубок — двадцать семь убитых им волков. Так вот послушай, Манкир: если ты дотронешься до меня хоть пальцем, я убью тебя из этого ружья. Ты будешь двадцать восьмым...

Глядя в ее глаза, он прохрипел:

— Попробуй...

— Нет. — Качнула она головой. — Сейчас, я знаю, мне не удастся этого сделать. Но после... Я найду тебя, Манкир!

Он продолжал смотреть на нее, следя за каждым ее движением. Нет, он не испугался угрозы. Но кроме простой решимости он увидел в ее лице и еще что-то такое, чего потом никогда не мог забыть: необыкновенно высокая душевная сила как бы парализовала

Манкира. И он ясно понял: она сильнее его.

Отойдя от нее, он снова сел на табуретку и некоторое время сидел молча, опустив голову. Вначале он подумал, что ему следует рассмеяться и сказать, что он пошутил. Но он тут же отбросил эту мысль. Делгир все равно не поверила бы, да и сам Манкир уже не мог ей лгать. Он и сам не мог объяснить почему, но вот эта новая Делгир, какой он ее только сейчас узнал, стала как бы его совестью, давно им растерянной и теперь вновь обретенной. Ему сделалось и страшно за себя, и в то же время он почувствовал облегчение. Подняв наконец голову, он проговорил с трудом:

— Прости меня, Делгир. Не знаю, что случилось со мной... Если хочешь, ударь меня, больно ударь... Если хочешь, сними ружье Цекри и застрели меня, как собаку. Но только прости.

Сейчас он больше всего боялся, чтобы Делгир не подумала, будто он снова фальшивит, но она, кажется, поняла его. «Война уродует многих...» — вскользь подумала Делгир.

Она указала Манкиру на его пиджак и шубу:

— Оденься и уходи.

— Разреши, я посижу еще немножко.

— Нет. Ты должен уйти.

Тогда он быстро оделся и ушел.

2

Что сейчас делает Дарья, не бросила ли она овец, испугавшись непогоды? Делгир взяла у порога гирлик и вышла в степь. Ветер свистел над степью, гнал по земле тучи снега, наметал сугробы и снова сдувал их. Казалось, что земля вздрагивает от урагана. Задыхаясь, Делгир бежала, увязая в сугробах, падала, снова поднималась и, прислушиваясь к ветру, опять бежала.

Осталась позади кошара, куда Дарья должна была пригнать овец. Но кошара оказалась пуста. Значит, не успела Дарья вовремя, а теперь ничего нельзя сделать, потому что никакая сила не заставит овец идти против ветра. Они сейчас повернули по ветру, их несет все дальше в степь, а отчаявшаяся Дарья, наверное, плачет от охватившего ее бессилия.

Мгла быстро сгущалась, буран все больше свирепел, и Делгир, оглянувшись, уже не увидела ни хотона, ни кошары. Ей стало страшно, никогда еще не приходилось ей оставаться одной вот в такой степи. Куда идти? Как в этой кутерьме она найдет Дарью?..

Одиночество — страшная сила. Оно подавляет волю, отнимает силы, бороться с ним может только очень сильный человек. Нигде не чувствуешь себя таким одиноким, как в зимней буранной степи. Ты — затерявшаяся в мире былинки, песчинки в самуме, которую несет неизвестно куда. Хочет того человек или нет, в душу его входит страх, и, если у

тебя не хватит сил убить его, он может убить тебя. Делгир остановилась и приложила ладони ко рту:

— Дарья-аа-а!

Ветер смял ее крик.

— Эге-ей, Дарья-а-а!

Она понимала, что никто ее не услышит, но пусть Дарья далеко, пусть она ничего не слышит, но криком своим Делгир как бы развеивала одиночество, не давала страху вползти в душу.

Теперь она шла так, как идут в атаку: плотно сжав губы, чуть наклонившись вперед, не останавливаясь и не замедляя шаг. Она и сама не знала, откуда у нее берутся силы, но чем яростнее налетала на нее пурга, чем злее и безжалостнее был ветер, тем она становилась упорнее. Далеко ли, близко ли теперь до хотона — об этом она не имела никакого представления. Иногда ей казалось, что она топчется на одном месте, иногда думала, что прошагала уже десятки километров. Она старалась отыскать какие-нибудь знакомые приметы степи, но все слилось в муть, и в десятке шагов от себя Делгир уже ничего не могла разглядеть.

Вдруг ей почудилось, что до слуха донесся разрываемый ветром крик. Она остановилась, прислушалась, из-за сугробов несло однообразное, тоскливое:

— А-а-а!..

Делгир рванулась туда. Скорее! Скорее! Она не могла ошибиться: там — человек, там — Дарья.

...Дарья шла впереди отары, сдерживая натиск овец. Глаза ее были закрыты, вся она с ног до головы облеплена была снегом, как снежная баба.

— А-а-а-а!.. А-а-а-а!..

Делгир скатилась с сугроба и упала ей под ноги.

— Дарья! Дарья!..

Но Дарья продолжала идти, не раскрывая глаз и ничего не слыша. «А-а-а-а, а-а-а!..» — не то тянула песню, не то плакала, не то стояла она. Тогда Делгир догнала ее, схватила за плечи и с силой встряхнула:

— Что с тобой, Дарья? Это же я, Делгир, посмотри на меня!

Дарья остановилась, провела, словно отгоня дурной сон, рукавицей по глазам, с минуты, ничего не понимая, смотрела на Делгир, и вдруг заплакала:

— Это ты, Делгир? Ты или нет? Ну, говори, говори! У меня помутился рассудок от страха, я думала, мне конец... Я думала, ты не придешь... Разве можно идти в такой буран? Делгир, милая моя Делгир!..

Она плакала и все говорила и говорила. Гонимые пургой овцы напирали сзади, и Делгир сказала:

— Идем, Дарья!

Дарья послушно пошла вперед, но через каждый шаг останавливалась и смотрела на Делгир, желая убедиться, что та никуда не делась. Теперь она не плакала, а только тихонько всхлипывала.

— Я думала, что мне уже конец, — по-

вторяла она. — Куда идти — не знаю, что впереди — не знаю. А сама себе думаю: «Вот и рехнулась ты, Дарья...»

— Дорогой мой человек! — сказала Делгир.

Она остановилась, обняла Дарью и расцеловала ее в застывшие щеки:

— Я все понимаю...

Вдвоем им легче было сдерживать отару, но беда была в том, что Делгир не знала, куда занесет их пурга. Она не могла не видеть: овцы устали, многие едва держатся на ногах, еще час-другой, и они начнут падать.

Вспомнилось, как однажды, лет пять назад, такая же пурга застала двух старых чабанов, разметала отару и похоронила под снегом сотни овец. А то ведь были опытные чабаны! Что же могут сделать две женщины, выбившиеся из сил? Куда им направить свой путь, чтобы укрыться от бурана? И что скажет Эрдни, когда узнает: Делгир, которой доверили такое большое дело, бросила отару на Дарью.

А та опять впала в уныние.

— О, яглав, пропадем мы с тобой, Делгир. Пропадем, чуе мое сердце!

Ее совсем уже покинули силы, шла она только потому, что знала: если упадет, больше не захочет встать. Заметет ли ее снегом вот здесь или на сто шагов дальше — какая в этом разница? Они обречены, все равно

они погибнут в этой трижды проклятой выюге...

И она наконец упала, упала и застыла, будто в одно мгновение от нее отлетела жизнь. Делгир быстро наклонилась к ней:

— Вставай, Дарья! Вставай, я помогу тебе.

Дарья не пошевелилась, и тогда Делгир в отчаянии стала трясти ее за плечи:

— Вставай! Замерзнешь здесь, дурочка!

В ответ — молчание, только рев пурги да тоскливое бляенье овец.

Делгир стало страшно. У нее ведь тоже не было сил, ей тоже хотелось упасть и не двигаться. Видно, судьба их — погибнуть в степи... От судьбы не уйдешь — так говорят люди, прожившие долгую жизнь... Все же она еще раз встряхнула Дарью, криком пытаюсь подавить свое отчаяние:

— Дарья! Идем, Дарья!

Дарья сделала усилие и приподняла голову.

— Я не пойду, не могу. Все... Я остаюсь, а ты уходи.

Ярость охватила Делгир. Почему она должна уговаривать Дарью, почему она должна сидеть возле нее и упрашивать, как ребенка? Разве Дарья не понимает, что им надо идти, иначе погибнут и они сами, и вся отара? Или она надеется, что Делгир потащит ее на себе? Если Дарья хочет превратиться в мерзлую кочерыжку, пускай остается, а она, Делгир, пойдет дальше!

С трудом поднявшись, она пробилась сквозь плотную стену окруживших ее животных. И сразу вся эта масса дрожащих от холода и страха полуживых существ двинулась вслед за ней, инстинктом чувствуя в человеке водителя и защитника. Чужая решимость человека, они тоже взбодрились, будто во что-то поверили.

Но тут Делгир, точно кто-то толкнул ее в грудь, остановилась. Куда же она идет? Как могла она бросить Дарью? Честный человек и собаку не бросит в степи. А она ушла от Дарьи. О, яглав, если с Дарьей случится беда, Делгир проклянет день, когда родилась на свет!

Подняв над головой гирлик, она закричала и бросилась назад, испуганные овцы шагахались в стороны. Никогда прежде она не испытывала такого страха, как в эту минуту. Пусть что угодно будет — пусть сердце ее оборвется, но разве она сможет жить, если не будет Дарьи...

...Дарья лежала согнувшись и закрыв голову руками. Лицо ее было занесено снегом, ресницы, запущенные инеем, вздрагивали, будто она спала, хотя не знала, спала ли она или все, что видела перед собой, было явью.

...Весеннее солнце грело степь, два круглых озера, как большие глаза, смотрели в синее небо. В небе парил коршун.

— Здравствуй, девушка!

Она была в одной нижней рубашке.

— Ой! — и быстро набросила на себя платье.

У него было не очень красивое лицо, ничем не привлекающие глаза, но вот эта улыбка... Будто повеяло на Дарью теплом, будто вся весенняя степь легла перед нею. В дальнем уголке ее души дрогнула забытая, молчавшая до сих пор струна.

— Мне надо уйти? — улыбнулся он.

— Я не знаю...

Буран не смог бы так закрутить человека, как любовь закрутила Дарью. Это была ее первая любовь, она затуманила разум девушки, ей казалось: жизнь — это летнее утро в степи — песни, цветы, ветер... Однажды она сказала ему:

— Скоро будет ребенок...

И не узнала его улыбку. Он улыбался только губами, глаза его оставались холодными. Избегая ее взгляда, он спросил насмешливо:

— Чей ребенок?

— Твой и мой. Наш...

— Уверена, что он — мой?

И тогда она все поняла.

Это что — на душе у нее такой ветер или реальный ветер, который намечает над нею холм?

Ребенок умер во время родов, а позор не умирал. Он шел за Дарьей по стопам, как проклятье. Ее имя стало ругательством, она уже не удивлялась, когда слышала за спиной: «Смотрите, вон пошла эта самая...»

Ветер! Ветер! Ветер!

— Когда человек один, его свалит ветер...

Кто это? Ах, это Наймин, чабан...

— Дарья, ты знаешь, что у меня умерла жена, и я остался один. Понимаешь, о чем я говорю? Когда человек один...

— Понимаю, — ответила Дарья. — Только как же ты будешь жить с такой, как я? Разве ты не знаешь, что обо мне говорят?

— Все знаю, — сказал Наймин. — Те, кто так говорят, в тысячу раз хуже тебя...

Хорошей души человеком оказался Наймин. Никогда ни словом не попрекнул он Дарью за прошлое. Дарья привязалась к нему. Но не долго продолжалось их счастье. Мчался как-то Наймин за выводком волков, споткнулся конь и упал. Домой Наймина привезли обмотанного бинтами, из него уже уходила жизнь. Она подошла к нему и опустилась на колени.

— Прости меня, Дарья. Я очень любил тебя...

И — все. Только ветер, ветер, ветер! Большой мир, в котором недавно так много было тепла и света, вдруг сжался, сделался темным и тесным. В мире, похожем на раковину, не стало сил ни плакать, ни кричать. Одиночество...

— Очнись, Дарья, это я, Делгир!

Не открывая глаз, она простонала:

— Не могу без тебя, Наймин...

«Прости меня, Дарья. Я очень... тебя лю-

бил...» Потом он еще спросил: «Почему ты не плачешь, Дарья?» Она хотела сказать, что у нее давно уже нет слез и плачет она только сердцем, но Наймин слабо улыбнулся ей: «Я все знаю, Дарья... Только ты не забывай меня...»

— Дарья! Ты слышишь меня, Дарья?

Делгир терла снегом ее щеки и лоб, дыханием отогревала ее губы, и вот наконец Дарья открыла глаза.

Пурга продолжала неистовствовать.

Делгир ошибалась, полагая, что председатель колхоза Эрдни Чудутов забыл о ней. Не такой это был человек.

Дорогу совсем замело. Встревоженный конь храпел и бросался из стороны в сторону, проваливался в снег по брюхо, бился и жалобно ржал.

Отчаянные сменялись надеждой, надежда снова переходила в отчаяние, и Эрдни, не раз уже решавший оставить до утра бесполезные поиски, едва держался в седле. «Вот посмотрю еще за этими холмами, — говорил он себе. — Если и там нету, поверну к хотону». За холмами ничего не было, кроме такой же, как и везде, снежной тьмы, но надежда возникала вновь и вновь: может быть, повезет вон за тем курганом и за той ложиной.

...Он нашел отару в глубоком овраге. Сбившиеся в кучу овцы были едва живы от стужи и голода, а Дарья и Делгир, полуза-

мерзшие, вконец отчаявшиеся, лежали на снегу в оцепенении, не подавая признаков жизни.

Эрдни, спрыгнув с коня, поднял сначала Делгир, потом Дарью и начал их тормошить. Женщины смотрели на него ничего не понимающими глазами, не в силах поверить, что пришла, наконец, помощь, что теперь они не одни в этой страшной ночной степи. А может быть, это сон?

Эрдни сбросил с себя брезентовый плащ, надетый поверх тулупа, потом снял тулуп, укутал им обеих женщин, а сам снова набросил на себя плащ.

— Погрейтесь...

— Это правда вы? — не веря своим глазам спросила Делгир.

— Это правда я, — засмеялся Эрдни.

Делгир подумала, что его надо поблагодарить, ведь он, наверное, искал их всю ночь, почти всю ночь мерз на этом проклятом, пронизывающем до костей ветру. Но вместо того она ткнулась головой ему в грудь и заплакала.

3

Тот, кто бок о бок прожил несколько предвоенных лет с председателем колхоза Эрдни, сейчас с трудом узнавал его.

Эрдни всегда оставался уравновешенным, ни при каких обстоятельствах не терял почву под ногами. Страсти свои он умел подав-

лять. Смысл жизни он видел в том, чтобы в меру сил быть солдатом партии, нести свою долю труда на леса великой стройки, которая зовется человеческим счастьем. «Все прошлое вашего народа — это непрерывная цепь страданий...» Разве эти слова, сказанные когда-то Лениным в обращении к калмыкам, были только сочувствием? Это был призыв разорвать цепь страданий и вывести народ на светлую дорогу. Эрдни понимал, какая это трудная задача, и не искал для себя легкой жизни. «Чем труднее работать, тем легче жить», — говорил он.

И все же он изменился.

Всякий раз, переходя через предел человеческих сил, Эрдни чувствовал, что какая-то другая сила, ему уже неподвластная, выбивает его из седла. Все труднее ему удавалось оставаться спокойным, все бледнее становилась его улыбка, все чаще он выходил из себя. «Сдаешь, Эрдни, ослабили твои гайки. Впереди будет не легче, разве ты не знаешь?» Впереди будет труднее — это он знал...

Утих буран в степи, солнце осияло умиротворенные снега, стало светло и отрадно — ослепительно, кричаще светло и как-то уж слишком отрадно, будто в последний раз. Так настораживает и тревожит тишина перед новой бурей или перед новым сражением.

Эрдни сидел за столом. Делгир угощала гостя чаем — без сахара, но с лепешкой.

— Правительство решило проложить железную дорогу Кизляр — Астрахань, — говорил Эрдни. — Это будет стратегическая дорога, она пройдет по восточным районам Калмыкии. Сроки самые сжатые...

Он вынул из кармана газетный комочек, извлек из него два кусочка сахара и, поманив к себе детей, оделил их. Те, сверкнув глазенками, присели в сторонке и захрустели.

— Все колхозы в районе дороги обязаны принять участие в строительстве, — продолжал Эрдни.

Делгир молча кивнула и стала глядеть в окно, где сияли снега. Страшно было вспомнить, что только два дня назад земля и небо, как лютые враги сойдясь в схватке, крушили и рушили все. Чудом нашел Эрдни двух обессиленных женщин, даже отару удалось сберечь, и вот теперь этот покой за окном.

— Я пришел с тобой посоветоваться, Делгир. Каких людей можем мы послать на строительство?

Делгир все смотрела в окно: обманчив этот покой, как он обманчив! Будто бы нет войны... Вот сейчас откроется дверь, стылый воздух ворвется в кибитку, завихрится паром, и из этого пара возникнет Цекря — весь в морозном куржаке, веселый, с подарками. Но не будет этого счастья, ни сегодня не будет, ни завтра! Где ты сейчас, мой милый, мой друг; мой муж? Сердце ее расслабилось, ей захотелось, чтобы кто-нибудь пожалел ее

сейчас, а она бы заплакала, как дозволено плакать всякой женщине. Душа ее вся открылась навстречу этому желанию, слезы ее уже стояли в глазах. Но она сдержала их, зная, что председатель колхоза Эрдни потому и пришел к ней за советом, что сам нуждается в ее поддержке. И оттого, что ей удалось сдержать слезы, в сердце ее опять стало входить мужество.

Всюду война, всюду фронт, тыла нет нигде!

— Первой пойду я, — сказала она.

4

Будто вернулось далекое прошлое, о котором стали уже забывать, — вернулась прежняя кочевая жизнь. Походные кибитки, запряженные волами и верблюдами, подводы с войлочными палатками, бредущие за кибитками и подводами толпы — пошло, пошло великое кочевье от края до края земли, тронулось стойбище. А в степи опять пурга, а в степи опять лютый мороз. В старину, бывало, калмыки не тронутся с места, если над степью выюга. Да, большая нужда подняла людей со своих гнездовий и бросила их в такую коловерт: где-то там, за снежной пеленой, уже шла битва, в промерзшей степи строилась железная дорога Кизляр — Астрахань. Вгрызались в целину лопаты и кирки, динамит рвал на куски холмы и курганы, тысячи тонн земли хоронили под собой овра-

ги и балки. Лишь кое-где можно было увидеть бульдозер или трактор — только руки, в мозолях, в ссадинах, почерневшие от мороза, только человеческие руки, да воля, да вера людей.

Кроме молодежи, на трассу пришлось послать и пожилых. Многие из них открыто выражали недовольство: «Виданное ли дело, чтобы нас на старости лет бросали туда, где собака-то вряд ли выдержит».

Эрдни делал вид, будто эти разговоры мало его трогают, а сам чувствовал, как внутренняя пружина, закрученная в нем, сжимается все сильнее и вот-вот лопнет. Вместе со всеми таскал он щебенку на насыпь, долбил смерзшуюся землю, катал тачки, пока не начинало темнеть в глазах. Чувствуя, как временами сердце делает перебон, он останавливался и минуту-другую стоял без движений, ловя ртом морозный воздух. «Только бы не свалиться», — думал он, украдкой оглядываясь по сторонам. Отдышавшись, он снова впрягался в тачку, а тачка с каждым шагом казалась тяжелее, и опять он украдкой оглядывался: «Только бы никто ничего не заметил».

...Поздно вечером, когда бригада собралась в кибитке и все приготовились к скудному ужину, Делгир сказала, обращаясь к Бога:

— Завтра с утра ты поедешь на подводах в село Оля за шпалами. С тобой поедут Ходжа и еще кто-нибудь...

— Я? В Оля за шпалами? Ты смеешься,

Делгир, Бога не такой молодой. Ты знаешь, что сейчас в открытой степи?

— Ты поедешь, — твердо повторила Делгир. — Оля — русское село, а ты хорошо говоришь по-русски. Ты сумеешь договориться, чтобы там помогли погрузить шпалы. Не будем же мы из-за этого посылать туда всю бригаду!

— У меня ноги больные, — взмолился Бога. — Ревматизма у меня. И с животом у меня неладно, совсем живот плохой, только знаю, что присаживаюсь в каждом овражке.

Эрдни лежал в углу с закрытыми глазами, потирая левую сторону груди, усталость придавила его к кошме, боль в сердце притупила его мысли. Голоса и слова тонули в чем-то неосознанном и всплывали вновь. «О, шулмус, опять схватило! Побегу я, пока не поздно...» Это — Бога.

Эрдни хорошо знал этого человека. Бога недавно перешел за пятьдесят, а не устает говорить о себе: «Я — старик!» Выгодно быть стариком... Но дай ему пару баранов или мешок муки, и он, взвалив на плечи груз, бегом потащит его к себе, забыв о ревматизме.

...Избитый плетью батрак стоит перед хозяином и молит его о пощаде: недосмотрел отару, сожрали волки трех овец. Это Бога. Гуляет по спине парня плетью, ни возмущения, ни простого осуждения не видно в глазах замордованного, вконец потерявшего веру в жизнь человека — только мольба о пощаде

Бейте его, унижайте, только сжальтесь, потому что там, за воротами хозяйской усадьбы, — голод, отчаяние, смерть. Но его выгоняют, и вот бредет он, жалкий, голодный и оборванный, по знойной степи. Это — Бога...

Затем Эрдни представилась кочевая кибитка, запряженная облезлым верблюдом, в кибитке Бога и его семья: молодая, но уже похожая на старуху жена с высохшей грудью, грязная, прикрытая лохмотьями девчонка, в глазах которой тупость и безразличие. Только когда она видит кусок лепешки, пусть самый черствый, глаза ее вспыхивают жадным блеском. Но мать прячет лепешку: это на завтра, дочка.

Музыка, песни, радость. Эрдни видит не молодого, но уже нового, сбросившего с себя груз тоски и отчаяния Бога, его сияющую, раздобrevшую жену и дочь — ту самую, в глазах которой, кроме безразличия, никогда ничего не было. Теперь это уже не девчонка, а девушка, она — педагог, она недавно окончила институт, поэтому в доме Бога такой праздник. Эрдни за столом говорит: «Советская власть принесла нашему народу счастье, оно вошло в каждый дом и надо беречь это счастье».

Что же случилось с Бога, если он стал таким человеком? Может быть, его прошлое — страх перед завтрашним днем, отчаяние, вечная нужда — убили в нем все высокое? Может быть, он и жадный такой потому, что боится нужды? А откуда тогда в нем лень?

«Трудно познать человека, — думает Эрдни. — Каждый человек — загадка».

И тут Эрдни встал. Загадка? Никакой загадки! Есть люди, которые не забывают страшного прошлого и готовы пойти на смерть, чтобы оно не вернулось. Но есть люди, которые смотрят на жизнь по-другому. Советская власть пришла для того, думают они, чтобы сегодня нам стало лучше, чем было вчера. И пускай она, эта власть, беспокоится, хватит с нас и того, что мы хлебнули в прошлом. Так они думают. Пускай о них беспокоятся, пускай на них работают, воюют за них, а они будут сидеть в своих норах; вот какая хорошая у нас власть, все делается за нас, как в сказке.

Эрдни поднялся, и все, увидев, что он поднялся, замолкли.

— Подойди сюда, Бога! — сказал Эрдни. — Стань вот здесь, чтобы все тебя видели. Ты помнишь, Бога, кем ты был четверть века назад?

— Я?.. — Бога удивился вопросу. — Двадцать пять лет назад... Целая жизнь прошла с тех пор. Разве ты не знаешь, Эрдни? Молодым джигитом я был.

— А ты ничего не забыл из прошлого?

— Разве человек может забыть молодость? — Бога покачал головой и хитро улыбнулся. — Нет, Эрдни, я ничего не забыл...

— Короткая у тебя память, Бога, — сказал Эрдни. — Потому ты и стал таким...

— Каким я стал? О чем ты говоришь?

— Лодырем стал! — бросил Эрдни. — «Молодым джигитом был...» Рабом ты был, Бога, а не джигитом! Забыл, как ты ползал на коленях? Джигит! Дочка твоя Болван колевой была? В шелковых платьях ходила? Ну, говори!

Бога растерянно поглядел вокруг. Почему все молчат? Почему никто не скажет председателю, что он не имеет права попрекать человека прошлым? Разве не для того пришла тогда Советская власть, чтобы Бога никто не хлестал плетью и чтобы его дочка не ходила в лохмотьях?

Бога вдруг поднял голову и распрямил плечи. В глазах его вспыхнула гордость, чувство, о котором Бога забыл. Может быть, Эрдни думает, что Бога не сумеет за себя постоять?

— Ты зачем говоришь об этом, Эрдни? — Бога вплотную придвинулся к нему. — Нищим, говоришь, был Бога? Рабом был? Все тогда были рабами, кроме богачей. Зачем же вспоминать?

— Зачем вспоминать? — крикнул Эрдни. — Затем, чтобы не забыть о совести! Чтобы такие, как ты, на чужом горбу не метили в рай. Такие, как ты, привыкли брать у Советской власти все, а когда отдавать начнешь, Бога? С животом у тебя плохо? Ноги болят? Врешь ты все! Лодырь и трус во время войны — тот же предатель...

Эрдни был бледен, губы его дрожали, и весь он дрожал, никто никогда не видел в нем

столько ярости, никто никогда не слышал в его голосе такого гнева.

Бога зло взглянул на Эрдни, посмотрел на Делгир, на Ходжу, Бюрчэ. Молчат. Сидят и молчат...

— Чего ж ты молчишь, Делгир? Ты справедливая женщина, скажи свое слово...

— Сказать свое слово? — переспросила Делгир. — Хорошо, я скажу... Собирайся в Оля. А не поедешь — судить будем.

Казалось, никогда не кончится эта первая военная зима.

Каждый метр насыпи и каждая уложенная шпала стоила нечеловеческих усилий, и Эрдни с тревогой стал замечать, что даже испытанные люди начинают понемногу сдавать. Все реже слышался смех Ходжи, все молчаливей становился когда-то неутомимый рассказчик Бюрчэ, и уже можно было увидеть в глазах Делгир не то растерянность, не то удрученность...

— Мне надо возвращаться в колхоз, — сказал ей однажды Эрдни. — Я надеюсь на тебя, Делгир... Справишься?

По обыкновению своему не спеша с ответом, Делгир стала глядеть в сторону насыпи, где Ходжа, Бюрчэ и еще кто-то, кого трудно было узнать (человек закутал голову башлыком, оставив только щели для глаз), кривоносами тащила шпалу. Шаг за шагом все выше и выше они тащили ее, но вот Бюрчэ пошатнулся, упал навзничь и покатился вниз. Ход-

жа и тот, замотанный башлыком, с минуты стояли, держа груз, не удержали, бросили крючья, и шпала медленно, оставляя глубокий след, поползла с насыпи.

Некоторое время Ходжа отупело глядел на зарывшуюся в сугроб шпалу и вдруг закричал:

— К черту такую работу! Человек не лошадь, он не может так! Пускай дают кран! Все время кричат: «Должны показать, что нам все по плечу!» К черту!..

Он долго бушевал, размахивая руками и расшвыривая комья снега, а тот, в башлыке, поддакивал:

— Правильно, Ходжа, мы не лошади... Пускай дают кран, пускай приезжают сюда сами. Плевать мы хотели на их агитацию. Идем, Ходжа, в кибитку. Там тепло, Ходжа... Идем...

— В кибитку? — Ходжа некоторое время удивленно смотрел на человека в башлыке. — Отенживаться у огня? А шпалы кто будет таскать? Или ты думаешь, нам помогут фрицы? Раскис ты, Дертэ.

Он схватил Дертэ за руку, оба они сбежали с насыпи. Бюрчэ уже снова приладил к шпале крючья, и скоро они втроем опять тянули ее вверх, на чем свет кляня и снег, и до рогу, и немцев, и всех, кто под руку подвернется.

— У Ходжи еще много пороха, — сказала Делгир. — Но злой стал, сдают нервы. И силы не те. Неделью назад они втроем втаскивали шпалу за три минуты...

— Ходжа выдержит, — обнадежил ее Эрдни. — Выдержали бы другие... Я постараюсь прислать сюда кое-каких продуктов, чтобы люди не голодали.

Делгир оживилась:

— Вот это будет хорошо.

Утро после отъезда Эрдни выдалось особенно непогожим. Ветер лютовал, крутил снежные вихри, от сугроба к сугробу не пройти. Насыпь, только вчера очищенная от заносов, теперь снова оказалась под метровым слоем снега. А с неба все сыпало, все сыпало, ветер подхватывал снег и в ярости швырял им.

Размахивая деревянной лопатой, Бюрчэ кричал что-то, а Ходжа, растирая снегом лицо, смотрел на него с таким видом, будто хотел сказать: «Да иди ты к черту!»

Делгир подошла к ним:

— Что случилось, Бюрчэ?

— Что случилось? Кярин, Дертэ и Манхаджи отказались выйти на работу, вот что случилось, бригадир! Мы, говорят, люди, а не верблюды. По Советской, говорят, конституции мы имеем право на отдых. Я сказал, что они и есть тупые верблюды, а не люди, вот что я им сказал. И еще сказал: «Если через десять минут вы не будете на насыпи, я набью вам морды». Десять минут прошло, а они не идут... Скажи, Делгир, можно мне пойти набить им морды?

— Успокойся, Бюрчэ. Пойдем-ка вместе.

...Кярин и Дертэ лежали под одним одеялом и делали вид, что спят. Манхаджи сидел на скамье, уставившись на тусклый язычок коптилки. Когда Делгир и Бюрчэ вошли, он не пошевелился. Делгир с сердцем отшвырнула ведро у двери.

— Чего ты шумишь, Делгир? — поднял голову Манхаджи. — Разве не видишь, что люди еще не проснулись?

Большим усилием воли Делгир удалось подавить в себе гнев:

— Почему ты сидишь, Манхаджи?

Тот удивленно пожал плечами и глазами указал на Бюрчэ:

— Разве этот товарищ не сказал тебе, что у меня сегодня выходной день? Я ему все объяснил. Выходной день, Делгир, понимаешь? Я не могу без отдыха, вот в чем дело...

— А другие могут?

— До других мне нет дела, каждый должен решать за себя. Индивидуально... Если ты и Бюрчэ решили работать — это дело ваше.

— Гад какой! — задохнулся Бюрчэ. — Сволочь!

Манхаджи сделал оскорбленное лицо:

— Ты слышишь, бригадир? Разве в нашей стране кому-нибудь позволено наносить оскорбление человеку?

Манхаджи играл роль оскорбленного благородства, и Делгир решила ему подыграть в этом.

— Честного человека никто не должен оскорблять, — сказала она.

— Спасибо, Делгир, — улыбнулся Манхаджи. — Я всегда считал тебя справедливой женщиной.

— Но ты ведь и есть сволочь, — спокойно сделала свой следующий ход Делгир. — Ты ведь и есть гад, Бюрчэ правду сказал. Разве правда оскорбительна?

Не дожидаясь, пока Манхаджи придет в себя, Делгир повернулась к лежащим под одеялом:

— У вас тоже выходной день?

— Я заболел, Делгир, — ответил Кярин. — Поясница у меня...

— А ты, Дертэ?

Тот сбросил с себя одеяло, сел и обхватил руками колени. Ему, видимо, хотелось вести себя независимо, как Манхаджи, но он не мог. Дертэ почувствовал страх: не слишком ли далеко они зашли? Он уже начал было одеваться, когда Манхаджи сказал:

— Дертэ живет своим умом, Дертэ не дурак, чтобы подчиняться каждому, кому охота командовать. Правильно я говорю, Дертэ?

Тот растерянно закивал и опять полез под одеяло. Делгир с презрением посмотрела на всех тронх и вышла.

А Манхаджи между тем, достав из чемодана книгу, закутался в тулуп и, устроиваясь поуютнее, провозгласил:

— Умный человек всегда живет лучше, чем дурак. Это — закон природы...

Кярин посапывал под одеялом, а Дертэ сидел на кошме, обхватив руками колени.

— Да, с тобой не пропадешь, Манхаджи, — отозвался он.

— Есть такая пословица, — ответил Манхаджи. — На дураках воду возят. Хорошая пословица, правда?

— Заткнулся бы ты!

Дертэ лег, натянул на голову одеяло и надолго затих. Плохо было у него на душе. Какого дьявола связался он с этим типом? «Умный человек живет лучше, чем дурак». Это Манхаджи-то умный человек? А из техникума кого выперли? Тупица, лодырь. Вот ведь гад какой, сидит в тепле, да еще и высмеивает тех, кто на трассе!

Дертэ вдруг сдернул одеяло и вскочил.

— Ты что, рехнулся? — покосился на него Манхаджи.

— Завтра умникам дадут коленом под зад, скажут — обойдемся как-нибудь и без этих сволочей.

Кярин высунул голову из-под одеяла:

— А ты чем лучше меня? Я хоть старик, а у тебя вон морда какая молодая! Чего ж сидишь тут, а? Митингу развел, а сам и есть лодырь!

Ожидалось, что Дертэ опять набросится на него, но Дертэ сказал:

— Правильно, я лодырь, не лучше тебя и Манхаджи. Такая же сволочь...

— Умные люди называют это самокритикой, — усмехнулся Манхаджи.

Дертэ сорвал с вешалки свою фуфайку, надел шапку и сунул под мышки рукавицы.

— Сидите тут. А Дертэ не хочет быть сволочью.

Хлопнув дверью, он выбежал и, не разбирая дороги, увязая в сугробах, побежал к трассе, будто кто гнался за ним.

В этот день бригада Делгир подошла к оврагу, по дну которого проходило русло какой-то речушки. Через этот овраг требовалось перекинуть небольшой мост, и бригаде было поручено подготовить этот участок — вырыть котлованы для опорных стоек и поднести нужное количество бетона, потому что трактор сюда подойти не мог из-за обрывистых склонов оврага.

— К вечеру работа должна быть закончена, — сказал прораб-путеец.

Делгир попросила:

— Если можно, пришлите нам еще человек пятнадцать. Или хотя бы десять...

— Из одного человека! — отрезал прораб. — В других местах не легче.

Это был нечеловеческий труд.

Под полуметровым слоем льда в речушке стояла вода. Казалось, холод подбирается теперь к самому сердцу. Рукавицы превратились в ледяные култышки, пальцы жгло так, будто кожа с них была содрана и голое мясо касалось ледяных игл.

Делгир велела Бога разжечь в овраге костер. Куски просмоленных шпал давали жаркое пламя, и когда человек весь в наледи подходил к костру, от него валил пар. Минуту-

та-другая, наледь таяла, человек снова бежал к руслу, топором вырубал глыбу льда и, зацепив ее крюком, тащил вниз по руслу. Тут же, отведя по вырытой канаве воду, копали котлован, брызги застывали на лету и с шорохом падали, будто не вода, а сам воздух смерзался в кристаллы и оседал.

Прораб-путеец, пожилой, болезненного вида человек, обросший дремучей бородой, ходил взад-вперед по руслу. Прораб видел, что в его указаниях тут почти не нуждаются, но он почему-то не мог отсюда уйти.

«Как его зовут?» Забыл путеец, как зовут парня. Манджен, что ли? Вырубил льдину, зацепил ее крюком, подтащил ее к первой, вырубленной до того, положил одну на другую и только теперь потащил. «Так нельзя! — подумал прораб. — Он надорвется!..» Прораб хотел помочь ему, но увидел, что и другие, видя почин, тоже кладут льдину на льдину.

Не один десяток лет проработал путеец на железных дорогах. Строил он в пустынях и на Урале, прокладывал магистрали в таежных дебрях Сибири. Он привык к одержимости, он видел многое: и схватки людей с ураганами на Крайнем Севере, и битвы с самунами в Кара-Кумах, и броски строителей через скалистые горы. Он и сам когда-то был одержимым, но такого он еще не видел. «Вот кончится война, — подумалось ему, — постепенно сотрутся в памяти эти дни, и кто-нибудь из молодых и бойких напишет: «Несмотря на морозы и метели, строители железной дороги

с песнями шли вперед и вперед». С песнями... Как бы уже читая эти строки, старик-путеец поморщился и вздохнул.

Тут подошел Дертэ.

Странное выражение было на его лице: Дертэ был и растерян, и решителен одновременно. Он боялся, что его могут оттолкнуть те, к кому он бежал, и верил, что они поймут его, иначе что же ему останется делать, с позором возвращаться в колхоз? Тридцать три почерневших от мороза лица повернулись в его сторону. Может быть, они ждут, чтобы он повернул назад? Или они хотят, чтобы он прошел через унижение. Дертэ готов был на все. словно не в силах проглотить стоявший в горле ком, он сказал, подняв глаза на Делгир:

— Я пришел...

— Он пришел... Надоело валяться на кошме. — Хуже всего, что это сказал Бога, тот самый, которого несколько дней назад Эрдни назвал последним лодырем. Подойдя в Делгир, Бога ехидненько засмеялся: — Погляди на него, свеженький, веселенький... Стоит и думает: «Ну, как вы тут? Наклацались зубами?»

Бога, как видно, вспомнил, что тогда его никто не поддержал, все над ним издевались, а теперь пришла его очередь. Он теперь такой исправный стал, такой благонравный!

Делгир жестом оборвала старика, и тот живо скрылся.

— Хорошо, что пришел, Дертэ, — просто сказала Делгир. — Возьми-ка мой шарф.

Сдернув с себя шарф и протянув его оторопевшему Дертэ, она пошла в сторону, за ней пошли и другие. Ни упреков, ни осуждения — просто так, отошли, и все...

Подошел к нему лишь Ходжа.

— Будем работать вместе, Дертэ. У меня для тебя есть кирка...

И тогда Дертэ заплакал.

Была уже ночь, когда бригада закончила работу, — совсем закончила, всю работу закончила, на всем своем участке. Прораб-путьец обнял Делгир и даже прижался своей бородищей к ее щеке.

— Спасибо, Делгир, — сказал он. — Этого не забуду даже я, старый хрыч. Это нельзя забыть...

5

Еще до начала войны в колхозе имени Кирова решили построить клуб. Заключение договор с подрядной организацией, возвели стены, поставили крышу, а потом оказалось, что на внутреннюю отделку негде купить материалов, и недостроенный клуб приспособили под склады.

Сейчас здесь навели кое-какой порядок. У дальней стены поставили стол для президиума, принесли скамейки, табуретки, повесили лампы «летучая мышь», а у двери повесили объявление, возвещавшее, что в восемнадцать ноль-ноль состоится общее собрание колхозников. К шести часам вечера клуб был

заполнен, кому не хватило места, пристраивались на подоконниках, на пустых ящиках, а то и попросту на полу, подстелив прихваченную из дому кошму.

— Говорят, Кярину присвоили звание Героя Труда за работу на железной дороге.

— Ему и Бога... Смотрите, Бога надел новый пиджак, на него он повесит орден...

— Болтуны! — Это уж сам Бога подал голос. — Поработали бы так, как работал Бога, тогда не чесали бы языки.

— А Манхаджи? Манхаджи у нас ведь самый главный герой, его, говорят, должны премировать еще и золотыми часами... Эй, Манхаджи, не продашь ли премию?

Устроившись подальше, в сторонке, Манхаджи затравленно озирался. Зря он, пожалуй, пришел сюда, лучше бы ему отсидеться.

Когда пришел Эрдни, пересуды смолкли, выбрали президиум, и Эрдни стал говорить. Он говорил о том, что враг еще рвется в глубь страны, топчет наши земли, обращает в пепел жилища людей. Он говорил:

— Много крови еще прольется, но захватчики захлебнутся в ней, как захлебнулись в ней все чингисханы, наполеоны, кайзеры и прочие.

Эрдни говорил о непобедимости народа, познавшего дух свободы, познавшего счастье. Он говорил:

— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Так сказала Долорес Ибаррури в Испании, так в след за нею скажет каждый из

нас. Могут ли жить на коленях люди, над головами которых знамя Ленина?

Шквал ударил в стену снаружи, над крышей пронесся снежный вихрь. Мигнули лампы, метнулись по углам тени. И еще один шквал, и еще один, и еще...

Но Эрдни продолжал говорить, и все его слушали. Он говорил, что залог победы — ратные подвиги наших сынов на фронте и трудовые подвиги в тылу. Близится к концу строительство железной дороги Кизляр — Астрахань. Бригада колхоза имени Кирова закончила работу на своем участке, и Президиум Верховного Совета республики наградил Почетными грамотами многих наших товарищей. Он взял со стола большой лист, и при тусклом свете ламп все увидели большие золотые буквы. Люди как бы перестали дышать и замерли в ожидании. Эрдни стал читать:

— За трудовой героизм на строительстве стратегической магистрали Кизляр — Астрахань, за высокое сознание патриотического долга Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР награждает Почетной грамотой чабана колхоза имени Кирова Улан-Хольского района Лиджиеву Делгир Санджиевну.

Растерянная и смущенная, не в силах скрыть охватившего ее чувства, Делгир подошла, и Эрдни обнял ее. Тишина будто бы взорвалась: хлопали в ладоши, стучали ногами, кто-то что-то кричал, кто-то даже смеялся...

Держа грамоту обеими руками, как хрупкую вещь, Делгир стояла, не зная, что делать и что говорить. Когда гул постепенно смолк, она тихо, так тихо, что ее трудно было услышать, сказала:

— Я всегда буду такой. Всегда...

Потом Эрдни вручил грамоты Дертэ, Бюрче и Ходже. Ходжа, подходя к столу президиума, долго стоял, переминаясь с ноги на ногу, и все будто бы в первый раз увидели, что он совсем еще мальчик. Ходжа сказал, что он оправдает награду, что он пойдет на фронт и погибнет там как герой. Эрдни отечески погладил его по голове:

— Зачем же погибать, сынок? Мы рассчитываем после войны погулять у тебя на свадьбе.

Делгир сидела на краешке скамейки у стены. Два с половиной месяца на трассе вспомнились ей, как целая жизнь, прожитая в яростном противостоянии голоду, стихии, человеческой низости, — целая жизнь, которая устойчиво зиждется только на человеческой высоте, и согрета надеждой. Они не уставали лелеять надежду: вот вернемся к родным очагам, пусть не к сытости и не к довольству, но все же под свой кров, — вот вернемся, и жизнь переменится.

В сущности, так оно и было сейчас. Они сидели все вместе пусть не в теплом и разубранном зале, зато согреты признанием их подвига, и от такого особенного тепла налеты бурана, снег сквозь щели недостроенного помещения были им нипочем. Эти налеты не

страшили еще и потому, что были они последние: еще неделя-две, и ослепительно вспыхнут на солнце снега, ручьи потекут, зацветет степь — весна будет...

— А теперь, дорогие товарищи, мы должны решить очень важный вопрос: сможет ли наш колхоз выделить для нужд фронта десять тысяч овец.

Подумав о весне, Делгир припомнила слепящий свет за окном в тот день, когда Эрдни пришел сообщить ей о железной дороге.

Да, обманчиво было то умиротворение! А все же хорошо, что, пусть обманчиво, можно себя пожалеть, хоть на короткую минуту можно дать отдохнуть сердцу.

А Эрдни говорил о тяготах войны, о том, как туго затянули пояса люди Урала и Ленинграда, Москвы и Сибири.

— Сейчас партия говорит народу: на карту поставлены честь и свобода Родины, мы должны победить, и мы победим. Но для победы нужно отдать все...

Делгир плохо слушала. Сидя укромно, на порядочном удалении от фонаря и углубившись в себя, она, с расслабленным сердцем и, как солнышком теплым, обласканная признанием, стала думать о себе: «Сирота я, сирота! Где ты, мой милый, мой друг, мой муж?» Слезы сами собой текли у нее — кап-кап-кап на фуфайку. И стало ей хорошо-хорошо! От слез...

Она пришла в себя от тишины. Эрдни перестал говорить, сидящие с нею и во всем

клубе — все тоже молчали, как молчат в решительные моменты жизни. Делгир огляделась и вдруг встретила взглядом с Манкиром, тот сидел на подоконнике вблизи и неотступно, не слыша, по-видимому, даже этой пугающей тишины, смотрел на нее, на ее слезы. Тогда она утерлась уголком платка, вздохнула и вернулась из своего удаления. Да, засияют снега, потекут ручьи, перелетные птицы полетят над цветущей степью, но не будет весны для людей, потому что война, потому что фронт всюду, а тыла нет нигде, даже в сердце.

— Кто хочет выступить? — спросил Эрдни.

Делгир еще раз огляделась и увидела рядом с собой старика Бадму, который молчал, полускрыв глаза. Недавно он пришел в правление и бросил на стол потертую шапку. «Слушай, председатель, — сказал он. — Я старик, меня едва ноги держат, но я не бросаю гирлик, потому что война. Но человеку надо что-то есть. Кюр, шулюк, сахар — это теперь только снится. Не надо кюр, не надо сахар, но скажи, чтобы дали Бадме кусок мяса старого верблюда, иначе Бадма упадет в степи и не встанет».

Бадме сказали: «Нет у сейчас мяса». И старик ушел. Что он сейчас скажет, когда у него спросят: «Согласен ли ты, Бадма, чтобы колхоз бесплатно отдал государству десять тысяч овец?» Не скажет ли он: «Старому чабану нет и куска верблюжьего мяса, а государству — десять тысяч овец?»

— Кто хочет выступить? — повторил Эрдни.

Из ряда вышел и встал перед залом Кярин.

— Вот оно как получается, — сказал он. — Когда мы приходим к председателю — дай, председатель, мяса, он отвечает — война. А когда наверху, — Кярин показал в потолок, — решили взять наших овец, нам говорят: «Колхоз — миллионер. Богачи!» Может, теперь и мы скажем — нету, война? А выделить в этот самый фонд, то выделить и нам. По пятку овечек на семью... Правильно я говорю? Бадма мяса просил? Просил. Дали ему? Не дали ему. Сарнаг для внуков валушка просил? Просил. Дали ему? Не дали ему... Так как же получается? Иди сюда, Сарнаг, скажи свое слово...

— Иду! — отозвался Сарнаг.

Прежде чем начать говорить, Сарнаг долго прокашливался, потом пригладил редкие волосы, зачем-то посмотрел на свои руки и только тогда сказал:

— Я просил валушка. Для внуков. Сам я ничего, перебуюсь, а вот внуки... Жалко мне внуков. Не дали мне валушка, сказали нельзя, время такое...

— А теперь — десять тысяч! — крикнул Кярин.

— Да, а теперь десять тысяч... Кому? Ты знаешь кому, Кярин?

— Знаю! Знаю, Сарнаг, друг мой дорогой. Туда, наверх!

— Старый ты дурак, Кярин! — просто,

как «здравствуй», сказал Сарнаг. — Столько лет прожил, а ума не набрался. Про Ленинград слышал? А солдаты — им что, травой питаться? Чего ж ты молчишь, Кярин? А еще другом меня называешь... Не друг ты мне больше!

Желтым, прокуренным пальцем Сарнаг ткнул в лист бумаги, лежащий перед Эрдни, и сказал твердо:

— Пиши так: старый чабан Сарнаг за то, чтобы выделить в фонд обороны десять тысяч овец. И внуки Сарнага за то, чтобы выделить. Думаешь, я в обиде на тебя, что валушка не дал?

Тяжело ступая, Сарнаг отошел и сел на свое место, а по проходу, опираясь на палку, уже шел Бадма.

— Пускай председатель пишет: «Выделить десять тысяч голов». Война кончится — больше разведем. Я только вот что хочу сказать: есть у нас с Бальжрмой одна овца. Я мяса просил, думаю, сварим побольше шулюка, подкормимся, а овцу сбережем. Как можно калмыку без овцы?..

Бадма поискал глазами Бальжрму, нашел, кивнул ей и вздохнул:

— Решили мы отдать свою овцу. Не десять тысяч овец будет, а десять тысяч и одна. Это немного больше...

— Спасибо тебе, Бадма, — сказал Эрдни. — Спасибо.

Кто-то — кажется, Бува, мать Манхаджи, — крикнул с места:

— И у меня есть овца. Запиши, Эрдни!

— Я тоже отдаю, — сказал Ходжа. — У меня есть маленькая...

У стола образовалась очередь.

6

К лету 1942 года над Калмыкией нависла угроза вторжения. Это была реальная угроза, и хотя многие опасались ее, все же каждый почувствовал, как тревога, недавно еще не совсем осознанная, стала теперь силой над людьми. Отошли-отодвинулись мелкие заботы. Все, что только вчера казалось важным, сегодня потеряло всю важность. Только одним неизмеримо большим чувством была исполнена жизнь в те тревожные дни: чувством боли за разоренные земли и чувством ответственности, которая легла теперь на плечи каждого. Даже те, которые поддались ланике, кто вконец растерялся, кого охватил страх и покинула уверенность, даже те, кому пришла мысль о наживе, в ком пробудилась низменная страсть отомстить кому-либо за прошлые обиды, кого-то унижить, а самому взять верх, — даже такие люди, хотели они того или нет, несли в себе это чувство.

Часто, уже под утро, возвращаясь домой из правления колхоза, Эрдни останавливался у какого-нибудь освещенного коптилкой окошка и подолгу стоял. Там, за окошком, люди бодрствовали не потому, что на них напала бессонница. Вернувшись с работы, человек приводит в порядок жилище, пишет

письмо на фронт, женщины обстирывают детей или готовят им скудную пищу. Другого времени у человека нет: час-полтора, и снова на ферму, снова в поле... Душевное тепло охватывало Эрдни, высокое чувство близости с каждым таким человеком за окном испытывал он, стоя в ночной тишине. «Теперь никому не легко...» Эти слова Эрдни слышал каждый день, и кроме духовной близости испытывал еще и гордость за этих людей, за Родину, которая сделала их такими, какие они есть.

Подобно тому, как в зимние буранные дни, когда двинулся люд к трассе железной дороги, опять загудела степь, стала опять похожей на великое кочевье: к Волге, поднимаемая тучи песка и пыли, потянулись несчетные отары овец и гурты скота. Крики чабанов, блеянье овец, лай овчарок, плач детей, рев верблюдов — казалось, сама земля из недр своих породила эту тревогу, привела в смятение все живое. В этом движении людей и животных, казалось, царил хаос, казалось, что все и вся перемешалось здесь, все охвачено паникой, но так лишь казалось на первый взгляд. Чем дальше кочевье уходило в степь, тем отчетливее намечался порядок; гурты и отары, разделенные интервалами, медленно брели, растянувшись на многие километры.

Делгир шла рядом с Дарьей. Ураганная ночь, когда обе они едва не погибли в степи,

сблизила женщин, им уже трудно было друг без друга, особенно Дарье, которая знала, что, если бы не Делгир, она не смогла бы занять свое место в жизни, на нее до сих пор смотрели бы как на женщину без пути. Теперь о Дарье говорили: «Она работает с Делгир. Она — подруга Делгир». И этого было довольно.

Шагая сейчас рядом и время от времени поглядывая на нее, Дарья не могла не видеть, как удручена ее подруга. Горе залегло в ее глазах. Дарья осторожно тронула ее за локоть:

— Мы еще вернемся сюда...

Делгир верила, что они покидают родные места только на время, но утешиться одной этой верой не могла. Ей не довелось еще видеть фашистов вблизи, но она хорошо представляла себе, как дикие орды врываются в ее степь, уничтожая на своем пути все живое.

Ночь опускалась на степь, глухая ночь, похожая на тоску в душе человека. Делгир обернулась назад. Безжизненные колодезные журавли, сиротливый дымок потухающего костра, чья-то застывшая в последнем прощании фигура — все это показалось ей сном. Только час назад там была жизнь — и вот уже нет ее. Все будто умерло, будто окаменело.

— Мы еще вернемся сюда! — повторила Дарья.

Теперь она обращалась не столько к Делгир, сколько к самой себе, и в голосе ее слышались слезы. Никого она здесь не оставля-

ла, никто ее здесь не будет ждать, и все же, уходя, Дарья испытывала тягостное чувство утраты — родину она покидала.

К ним верхом на коне подъехал старик Бадма, взглянул на Делгир, потом на Дарью и ни с того ни с сего закричал:

— Что вы тут стоите! Овцы сами себе дорогу должны искать? Вы чабаны или кто? О, горе мне, горе с этими бабами!

Дарья слабо улыбнулась:

— Не кричите, дядя Бадма, все равно никто не поверит, что вы злой человек.

— Вот я тебя ташмаком сейчас, узнаешь тогда, злой Бадма или не злой!

Он поднял над головой кнут, но тут же опустил его, будто забыл, зачем поднимал. Приподнявшись в седле, он смотрел на сиротливый дымок костра, едва заметной ниткой поднимающийся кверху, и в глазах у него стояли слезы. Он смахнул их тыльной стороной руки, вздохнул. Может быть, ему почудилось, что там, у догорающего костра, стоит одинокая Бальжрма и, сцепив на груди руки, безотрывно глядит в степь. Бадма что-то невнятно пробормотал, тихонько тронул шею коня ташмаком и отъехал.

А Делгир сказала:

— Его нельзя оставлять одного...

Эрдни зашел к Ногале на ее походный склад, который размещался в трех походных кибитках. В одной из этих кибиток была «контора» Ногалы и ее «квартира». Здесь же, в ларях, сколоченных из свежеструганых досок, хранились ценные продукты: мука,

крупа, сахар, плитки чая, сотни три банок сгущенного молока, которые Эрдни едва ли не силой вырвал в районе для детей. Все это содержалось в образцовом порядке и под замками.

В кибитке «конторы», кроме самой Ногалы, сидел на маленькой скамеечке Замбэ, недавно вернувшийся с фронта после тяжелого ранения. Начищенная медаль «За боевые заслуги» украшала его выцветшую гимнастерку, лихо сдвинутая набок пилотка подчеркивала бравый вид Замбэ: не смотрите, дескать, что я инвалид и списан «по чистой», я еще бравый солдат. Когда Эрдни вошел, он вскопчил:

— Здравия желаю, товарищ председатель колхоза!

— Вольно! — шутливо отмахнулся Эрдни. — Пришел посмотреть, Ногала, что у тебя тут осталось.

— Осталось? — удивилась Ногала. — Из того, что колхоз выделил нам на дорогу, почти все цело.

Она сама видела, как колхозники грузили на подводы свои продукты — муку, крупы, чай, сахар. Пускай Эрдни не беспокоится, у каждого человека немало припасено из старых запасов. И пускай они не трясутся над этими запасами, нечего им тянуть руки к колхозному добру. Привыкли хныкать: «У меня уже ничего не осталось! Я уже голодаю!»

Эрдни поморщился:

— Зачем так плохо говоришь о людях?

Ногала сделала вид, что обиделась. Разве она экономит для себя? Разве ей чего-нибудь надо больше, чем другим? Она женщина скромная, никто не живет так скромно, как она. Вон хотя бы Замбэ скажет, как она живет. Замбэ знает...

Тот заметно смутился:

— Откуда же я знаю, Ногала? — возразил он. — Я ведь здесь в кибитке твоей редко бываю. Слышал, что говорят другие, а сам...

— Так слышал же! — находчиво подхватила Ногала. — Слышал, вот и скажи.

Эрдни спросил:

— Для детей сгущенное молоко выдаешь? У Нюдли есть маленькие, у Большан, у Делгир...

— Нюдле и Большан выдала по две банки, а Делгир не приходила... Нюдля и Большан женщины одинокие, без мужей, о них некому заботиться. А Делгир...

Тут Эрдни увидел на ее лице нехорошую улыбку, которая лучше самой Ногалы досказала за Ногалу ее мысль.

— Делгир? — как бы не заметив этой улыбки, спросил Эрдни. — Она ведь тоже без мужа. Разве ты не знаешь, что Цекря на фронте?

— Цекря на фронте, да есть Манкир...

— Довольно! Я лучше думал о тебе, Ногала. Кто скверно думает о другом человеке — сам плохой человек!

Не простившись, Эрдни ушел.

...Замбэ и не заметил, как Ногала подчинила его себе. Правда, она старалась не показывать своей власти, но сама-то знала, что любое ее желание Замбэ исполнит.

Однажды, когда Замбэ стал уже заведующим овцеводческой фермой, Ногала сказала, что, слушай, мол, Замбэ, через пять дней у нее день рождения и давай его отпразднуем. Чтобы было о чем вспоминать...

— Араки я достану, — с готовностью отозвался Замбэ. — А закуска?

Ногала взглянула на него укоризненно:

— Человек, в хозяйстве которого тысячи овец, не знает, чем угостить друзей!

— Так то же колхозные! А у меня нет ни одной!

— По-твоему, Эрдни имеет право брать у меня со склада все, что ему нужно, а другие — нет?

Замбэ с недоверием посмотрел на Ногалу:

— Ты правду говоришь?

— По-твоему, я вру? — вспыхнула Ногала и, повернувшись, быстро ушла.

— Подожди, Ногала!

Она не оглянулась. Замбэ побежал вслед за ней, испугавшись, что теперь она не простит ему обиды, но вдруг остановился.

— Замбэ не мальчишка, чтобы бегать за тобой...

До самого вечера он ходил злой, срывая досаду на всех. Он убеждал себя, что ему наплевать на Ногалу, на ней свет не сошелся. И чего он прилип к ней? «Человек, в хозяйстве которого тысячи овец, не знает, чем уго-

стить друзей...» Видали ее! Нет, голубушка. Замбэ не такой!

Однако, чем больше Замбэ убеждал себя, тем острее чувствовал, как захлестывает его тоска.

Было уже поздно, когда на ферму, в маленькую конторку Замбэ, заглянул старик Бога.

— Хотите покурить, аав? У меня хороший табачок.

— Ну-ка, попробуем. — Старик взял из железной баночки щепотку, закурил, поморщился. — Крепкий табачок! Но душности нет. Санджи меня угощал — это табак! Фабричный, в пачке. Дымок — душа песню поет...

— Откуда Санджи взял такой? — поинтересовался Замбэ.

— Откуда взял? Ты овцами командуешь, а он коровами командует, молоком. Живет как нойон!

Замбэ слушал молча. А что, если и вправду нагрянут фашисты? Все ведь заберут, ничего не оставят. А он, Замбэ, родной матери не может дать какого-нибудь паршивого ягненка, все боится, что с него спросят, будто его честность что-нибудь еще значит. Он поднял голову и глянул на старика. Тот дышал сигаркой.

— Слушайте, аав, — сказал Замбэ. — У меня к вам просьба: через пять дней у Ногалы день рождения, сможете ли вы нам помочь?

— Ногала мне не чужая, я рад что-нибудь

для нее сделать. Да и тебя я уважаю, Замбэ. Скажи, что надо делать.

— Надо пойти к старику Бадме и сказать ему, что я велел взять из его отары одну овцу. Для колхозных нужд...

— Бога не дурак, чтобы ничего не понимать. — Старик просиял. — Я так и скажу этому скряге Бадме: «Для колхозных нужд...»

Ногала учила:

— Никаких документов. Распоряжения чабанам отдавай только на словах. Ни одной записи, ни одной своей подписи! Ты настоящий мужчина, Замбэ. Таких, как ты, сейчас не найдешь. Все стали мелочными, трусливыми, а ты необыкновенный человек, Замбэ, я люблю тебя.

От ее слов кружилась голова. Замбэ рос в своих собственных глазах день ото дня. Он ничего для нее не жалел.

— Ты знаешь, Замбэ, Амулан Церенова продает ковер. Были бы у меня деньги...

А через час Замбэ в очередной раз уже вызывал к себе Бога:

— Пойдешь к Бадме и возьмешь у него три овцы для колхозных нужд...

Бога понимал, что три овцы — это сотни рублей, из которых и ему перепадет толика. А старик Бадма человек доверчивый, он только спросит: «Замбэ приказал? Он подтвердит это?» — «Конечно подтвердит!»

Но в этот раз Бадма был не один, рядом с ним шла Делгир. Она рассказывала ему о

последнем письме Цекри — он теперь на другом участке фронта — в горах. «Никому не верь, Делгир, — писал он, — что немцы слабые и трусливые. Они умеют воевать, иначе нам не пришлось бы драться с таким упорством. Но мы все равно обломали им зубы».

Бога на повозке поравнялся с ними и долго ехал рядом. Ему не хотелось вести разговор при Делгире, а та и не думала отходить от Бадмы.

— Говори, какое дело у тебя, — повернулся Бадма к подъехавшему старику. — Секрет какой?

— Никакого секрета! — метнул Бога настороженный взгляд на Делгир. — Никакого секрета нету. Замбэ приказал взять из твоей отары трех овец. Для колхозных нужд... Сказал, чтобы жирных.

— Жирных! А отчего им быть сейчас жирными? Идем по голой степи. Выбирай сам.

— А разве Замбэ не написал записку? — спросила Делгир.

— Какую там еще записку, — отмахнулся, не глядя на нее, Бога.

Он взял веревки и направился к овцам, но Делгир быстро догнала его.

— Не выйдет, Бога! Или вы привезете письменное распоряжение, или... Вы меня слышите?

Бога оттолкнул ее.

— Кто тут у вас старший, Бадма? Ты или эта женщина?

Глянув на Делгир, Бадма проговорил, точно оправдываясь:

— Я верю Замбэ, дочка... Не первый раз он присылает Богу за овцами и потом никогда не отказывается. Правильно, говорит, я посылал...

— Не первый раз? Почему вы не говорили об этом, аав? Я не хочу сказать, что Замбэ нечестный человек, он был на фронте, я тоже верю ему. Но он может забыть, сколько овец взял, а нам отвечать... Так нельзя, аав. А вы, дядя Бога, не сердитесь, Замбэ не так уж далеко, поезжайте к нему и скажите, чтобы он написал документ. На этих трех овец и на всех остальных, которых взял раньше.

Бога уехал, а вскоре верхом на копе прискакал взбешенный Замбэ: Делгир привыкла видеть его немножко застенчивым, вежливым, но сейчас Замбэ было не узнать: в лице — резкость, в глазах жестокость, даже в том, как он небрежно сидел в седле, было что-то развинченное, вызывающе дерзкое. «Откуда это в нем? — подумала Делгир. — Неужели и Цекря вернется таким!»

Спрыгнув с коня, Замбэ быстро подошел к Бадме:

— Это что еще за штучки, Бадма? Или теперь чабаны никому не подчиняются?

Бадма не успел ничего ответить в свое оправдание, как Замбэ с яростью налетел на Делгир:

— Ты кто тут такая? Может, Эрдни назначил тебя заведующей ОТФ вместо меня?

Тогда давай свой гирлик, я буду чабан, а ты начальство.

Делгир молчала. Она даже улыбалась слегка, и эта ее улыбка окончательно вывела Замбэ из себя.

— Какого черта ты улыбаешься! Я тебе не Манкир, который по ночам заглядывает в твою кибитку!

Он видел, как потемнело ее лицо, ему бы опомниться, но он уже не мог сдержать себя и продолжал, все ближе подходя к Делгир и будто бы наслаждаясь тем, как слова его ранят ее.

— Я, говорю, не Манкир! Улыбайся Манкиру, он тебе хорошо платит за улыбочки, а мне на них наплевать! Сто раз наплевать!

Тут она подняла гирлик и что было сил ударила его по лицу.

Если обо мне всем станет известно Эрдни — быть грозе. Впервые с той поры, как Замбэ стал на скользкий путь, он почувствовал тревогу. Угрызения совести беспокоили его и раньше, но он отмахивался от них: «Два-три десятка овец? Другие проворачивают и не такие делишки!» Сейчас он уже не хотел обманывать себя, ведь это не только тюрьма, это еще и позор на всю жизнь. И никто его не оправдает, никто не вспомнит, что он воевал, что у него есть боевая медаль.

— Надо что-то делать, Ногала. Пока не поздно...

— Ты раскис? Не с повинной ли идти надумал? Если с ума спятил — давай иди. Только не надейся, что Эрдни тебя по головке погладит. Десяток лет за решеткой — это самое малое. А то и пиф-паф... Время сейчас военное.

Он поразился, как спокойно она говорит об этом. Разве ей все равно, что с ним будет? И разве он один виноват?

Он так и сказал напрямик:

— О своей судьбе ты не думаешь?

Ногала вскинула брови:

— О своей? Я ведь не заведующая ОТФ, я за овцами никого не посылала. На складе у меня все в порядке.

Он встал. Ну что ж, может, это и хорошо, что она до конца раскрыла себя. Правда, ему не легче от того, что он потерял в нее веру. Нет, от этого ему не легче! Он даже сейчас, несмотря ни на что, продолжал любить эту женщину, ему трудно было уйти от нее, до того трудно, что он готов кричать, как от боли. Как он будет жить без нее? Чем заполнит он пустоту, которая — он знает это — появится в нем сразу же, стоит ему переступить этот порог?

Замбэ взялся за дверную ручку, но никак не мог открыть дверь, чтобы уйти. Он ждал: вот сейчас Ногала позовет его, скажет, что она пошутила, что он, неверно понял ее или еще что-нибудь в этом роде. Позовет или нет?

— Замбэ!

Он резко обернулся. Ему показалось, что

в ее глазах есть что-то похожее на участие, и ему стало легче.

— Не делай глупостей, Замбэ, ты не мальчишка. Давай все как следует обдумаем, все обсудим. У русских есть поговорка: «Не так страшен черт, как его малюют». Чего ты испугался? Никаких документов нет. Чем они докажут? Ничем не докажут. Выше голову, Замбэ! Хочешь арьки?

...Делгир варила на костре шулюн, покрывая на маленькую Булгун, которая поминутно заглядывала в котелок. Анджа, отойдя подальше от соблазнительных запахов, выстригивал рукоятку кнута. У костра лежала овчарка, задумчиво глядя на огонь.

Ногала подошла к костру и наклонилась над котелком, вдохнула в себя пахучий парок.

— Недаром говорят, что Делгир Лиджиева мастер варить шулюны! Мяса с ноготок, а запаха по всей степи.

Делгир промолчала, слабая улыбка тронула ее губы, но Ногала не поняла, что было в этой улыбке.

— Не поделишься ли со мной секретом, Делгир?

Делгир подложила в костер сухих кизяков, подула на них, подождала, пока они вспыхнут, и только тогда посмотрела на Ногалу.

— Зачем ты пришла, Ногала?

— Не очень-то приветливо ты встречаешь

гостей. — Она погладила по голове маленькую Булгун и крикнула Андже: — Подойди-ка сюда, малыш, посмотри, что принесла тебе и сестренке женщина, с которой мама не хочет даже поздороваться. Ну-ка, бегом ко мне!

Она вынула из сумки две банки сгущенного молока и протянула подбежавшему к ней мальчику. Тот схватил их, прижал к животу, боясь, что у него могут отнять этот дар.

— Дай мне одну! — закричала девочка.

— Не дам! — Анджа еще крепче прижал к себе банки.

Ногала засмеялась:

— Нельзя быть таким... Отдай одну банку Булгун, завтра я еще принесу.

Девочка заплакала и бросилась к матери. Делгир схватила Анджу за руку и вырвала у него обе банки.

— Паршивый мальчишка! Не хочу тебя видеть!

Ногала снисходительно улыбнулась:

— Не ругай его, мальчишки все одинаковые...

Делгир открыла сумку Ногалы, бросила в нее обе банки, потом поднялась и ногой отодвинула ее от себя.

— Унеси это обратно, — сказала она. — Тебя послал Замбэ?

Ногала вспыхнула.

— Я не рассыльная, чтобы меня кто-то куда посылал. Тем более Замбэ... Почему ты подумала об этом?

— Потому, что у вас обоих нечистая

совесть. Замбэ — трус, хотя и носит медаль. А ты... Ты похрабрее. И похитрее. Вот вы и решили, что уговаривать меня должна ты.

— Уговаривать? Тебя? — Ногала всплеснула руками. — О, дярке, о чем ты говоришь? В чем я должна тебя уговаривать?

— В том, чтобы я никому не рассказывала о ваших делишках. Ничего из этого не получится, отвечать придется и тебе, и Замбэ, и Бога. Всей вашей шайке.

Ногала чувствовала, как все в ней клокочет от бешенства. Разве она брала овец? О какой шайке она говорит? Замбэ делал Ногале подарки, давал ей деньги, но это дело его.

Она сказала:

— Пусть будет по-твоему. Пускай мы будем шайкой жуликов, называй нас как хочешь... Сколько Замбэ взял в вашей отаре овец?

— Больше двадцати, ты знаешь лучше меня.

— Может, и лучше... А где документы? Кто вам поверит, что вы не сами их продали? Бога говорит, что он никогда не приезжал в вашу отару. Что ты на это скажешь? Или думаешь, что судья поверит на слово тебе, а не поверит солдату, имеющему правительственную награду?

Ногала видела, как изменилась в лице Делгир. Что-то дрогнуло в глазах Делгир, будто в нее плеснули кипятком. Неожиданно хриплым голосом она проговорила:

— Грязная женщина! Грязная... Убирайся отсюда!

Собака поднялась и угрожающе зарычала. Ногала взяла свою сумку и пошла прочь, трясясь от обиды и гнева:

— Ты еще пожалеешь! Ты еще пожалеешь...

— Плохая весть, Ногала. Эрдни сейчас вызывал меня. Знаешь, что он сказал? «Овец будем сдавать представителям Казахстана строго по счету».

— И это ты называешь плохими вестями? — удивилась Ногала. — Это хорошая весть, Замбэ! Скажи ему так: сделаем ревизию во всех отарах. Понимаешь? Создай комиссию, пусть начинают подсчет. И сразу — акт! Ты все понимаешь? Ну, Замбэ, что ж ты молчишь? На твоём месте я давно сказала бы, что у Ногалы на плечах голова, а не кочан.

Замбэ ничего не ответил.

— Ты сомневаешься?

— У Делгир — дети... Что, если ее засудят? А у Бадмы — старуха Бальжрма...

Она подошла к нему так близко, что он ощутил на своем лице ее дыхание. Он хотел повернуться, но Ногала схватила его за лацканы пиджака и притянула к себе. У нее были бешеные глаза.

— Ты понял меня? — Она говорила шепотом, а ему казалось, что она кричит. — Если ты не сделаешь так, как я тебе говорю...

— Я все понял, — тоже шепотом сказал Замбэ. — Я все понял, Ногала. А теперь пусти меня, я пойду. К Эрдни пойду, как ты говоришь...

— Вот и хорошо, я знала, что так будет. Мой Замбэ — настоящий мужчина. Иди, я буду ждать тебя...

Он шел, ничего не видя перед собой, ему казалось, что в голове у него нет никаких мыслей, пустота в нем и пустота вокруг. Такого чувства он еще не испытывал. Его тень шла рядом, и он почему-то подумал, что живое существо как раз эта тень, а не он сам, потому что тени легче, стоит солнцу скрыться за тучи, и она исчезнет, растворится без страданий...

Вот и ему бы так — взять да и исчезнуть. Кто-то у кого-то спросит: «Ты знал Замбэ? Слышал о нем?» — «Замбэ? Нет, такого не было на земле».

Давно ли он мечтал о другом?.. Где-то у города Смоленска немцы прорвали первую линию обороны и рванулись к высоте 213,4, которую обороняла рота капитана Самохина. Они хотели взять эту высоту с ходу, да осеклись. И раз атаковали, и два, и три — не вышло! «Некуда нам отступать, други мои, — сказал капитан Самохин, — за нами — русская земля».

Они не отступили. Ложились костями, смертельно раненные стреляли до последнего патрона и умирали, как умирают солдаты, —

без жалоб. Потом их осталось трое: весь в крови капитан Самохин, солдат Калинин с полуоторванной рукой и он, солдат Замбэ из далекой Калмыкии.

На них шел танк — последний уцелевший из наступающих на высоту 213,4 немецкий танк, живое чудовище, страшное, как сама смерть.

— Простимся, — сказал Самохин. У него тускнели глаза, он не мог уже встать. — Простимся, други мои.

И тогда Замбэ, солдат из Калмыкии, взял в руки оставшуюся связку гранат и пополз навстречу танку. Навстречу смерти... Нет, ему не хотелось умирать. Он был очень молод, этот солдат, он только начинал жить, не зная еще ни любви, ни особой печали. Все это должно было быть впереди, если бы не этот танк! Танк, навстречу которому он полз, решит его судьбу — солдат это знал. Оставалось сорок—пятьдесят шагов и столько же секунд до последней точки, а солдат Замбэ думал о будущем. Солдат Замбэ мечтал. Вон там, под этим бугорком, где он бросит под танк связку гранат и сам, разорванный в клочья, перестанет существовать, вырастет небольшой обелиск с жестяной звездочкой: «Здесь, у высоты 213,4 насмерть стояли и погибли солдаты капитана Самохина: Калинин, Миронцев, Чугуев, Арутюнов, Костенко, Замбэ... склоним головы перед их мужеством».

Их не забудут... Однажды, это будет весной, к обелиску придут дети, положат цветы.

И вдруг кто-то скажет по-калмыцки: «Смотрите, здесь есть и наш земляк, Замбэ!» — «Замбэ? А меня тоже зовут Замбэ... Я родился в тот день, когда в наш хотон пришло известие, что вот этот Замбэ погиб. Меня и называли так в честь солдата Замбэ. Теперь я — это он... Я и он — это одно, понимаете?»

И вот мальчишка Замбэ, наследник имени и славы солдата Замбэ, пойдет и пойдет шагать по жизни. Все узнает мальчишка Замбэ — и любовь, и радость, и гордость за то, что носит он это имя. А потом, когда у него будет сын, он и сына назовет Замбэ, чтобы никогда не умирало это имя, чтобы всегда жил погибший солдат Замбэ...

Вот о чем мечтал Замбэ, подползая к танку со связкой гранат. Может быть, эта мечта и спасла ему жизнь, потому что он был уверен, что никогда не умрет, был спокоен, все рассчитал как надо и взорвал танк, а сам, тяжело раненный, потерявший сознание, но живой, долго лежал недалеко от высоты 213,4, пока его не нашли санитары...

Давно ли это было? Вчера или тысячу лет назад? А может, солдат Замбэ действительно погиб тогда, а вот этот человек, шагающий сейчас рядом со своей тенью, — совсем другой Замбэ, ничем не похожий на того, который насмерть стоял у высоты 213,4?..

Замбэ тяжело вздохнул. Вон там, у повозки с поднятыми оглоблями, стоит Эрдни. Сорок — пятьдесят шагов отделяют Замбэ от Эрдни, и ему сейчас кажется, что эти сорок —

пятьдесят шагов сделать труднее, чем тогда, когда он полз навстречу танку. Слишком тяжелый груз нес сейчас Замбэ на своих плечах, слишком давил его этот груз, так давил — будто навалили на него человеческое зло всей земли.

Эрдни, увидав Замбэ, вышел ему навстречу:

— Ты ничего не знаешь, Замбэ? После того как ты ушел, приходил старик Бога. Он сказал, что Бадма и Делгир...

— Об этом я знаю.

— Почему же ты молчал?

— Не кричи, Эрдни, — тихо сказал Замбэ. — Делгир и Бадма — честные люди.

— Честные люди? — Эрдни с недоверием и в то же время с надеждой посмотрел на Замбэ. — Я что-то плохо понимаю тебя, Замбэ. Может быть, ты объяснишь?

Они сели на холмик, покрытый высохшей желтой травой. Эрдни закурил и протянул папиросу Замбэ.

— Делгир и Бадма — честные люди, — повторил Замбэ, затягиваясь папиросой. — А жулики — я, Ногала и Бога. Вот так, Эрдни... Я, Ногала и Бога! Мы жулики, а не Делгир и Бадма. Ясно теперь? Не ясно? Тогда я расскажу все подробно...

Быстро и сбивчиво, точно боясь, что его перебыют и не дадут ему закончить исповедь, Замбэ начал рассказывать обо всем. Он говорил со злостью, почти с яростью, будто обвинял не себя, а кого-то другого, кого он презирал. Ни капли жалости не было в нем к

человеку, о котором он говорил, а только презрение за то, что этот человек опозорил свое когда-то честное имя — имя солдата, за то, что человек этот, у которого была хорошая, светлая дорога, свернул в болото. Пускай судят этого человека, пускай расстреливают — ему теперь все равно. Все равно! — Может Эрдни это понять или нет? Он, Замбэ, не будет искать никаких лазеек к оправданию. Он понимает, что его песенка спета, и если Эрдни хочет знать, то Замбэ даже рад, что все это наконец кончилось. Так жить, как он жил последнее время, — лучше не жить. К черту!..

Эрдни сидел, обхватив руками колени, закрыв глаза и не проронил ни слова. А когда Замбэ умолк, он встал и пошел прочь, опустив голову и весь сникнув.

7

К вечеру следующего дня они подошли к Волге.

У переправ творилось невообразимое: тысячи повозок, машин и тракторов, гурты скота, отары овец, несметные толпы людей, стремившихся на другой берег реки, — все это казалось многоплеменной ордой, уходящей от какого-то страшного мора. Час от часу толпы росли, но никто не мог бы предсказать, когда они тронутся с места: через Волгу туда и обратно с трудом переползали медленные паромы, и то, что им удавалось пе-

ревозить, было ничтожной каплей всего, что скопилось и продолжало накапливаться здесь, на берегу.

Ошеломленная этим столпотворением, Делгир озиралась по сторонам, боясь сделать хотя бы шаг от своей отары.

Она удивлялась, почему ее до сих пор не смяли, не растоптали тысячи ног, не раздавили сотни колес. Вон и Дарья стоит тоже еще невредимая, вон и Бадма, такой же, как и она сама, ошеломленный и растерянный, сидит на своем коне, втянув голову в плечи. Что-то кричит, азартно жестикулируя, Эрдни, о чем-то спорит он с человеком в военной форме и с автоматом на груди. Человек этот едва стоит на ногах от усталости, однако Делгир видит, что он спокоен, будто все происходящее вокруг него является обычной жизнью.

Это спокойствие военного странным образом передалось Делгир, и она очень скоро пришла в себя.

С берега от причала доносился хриплый, усиленный мегафоном голос:

— Грузится колхоз Сталина! Грузится шестой цех машиностроительного завода! Грузится четвертое отделение совхоза Дзержинского!

Грузится, грузится, грузится... Значит, думала Делгир, это лишь кажется, что тут неразбериха. Кто-то здесь всем руководит, кто-то тут знает, что и как надо делать! От этой мысли она совсем успокоилась и теперь стала успокаивать Дарью.

— Видишь, как тут все налажено? А ты, наверное, испугалась: пропадем!

— А сама ты разве не испугалась? — спросила Дарья. — Тут хоть кто испугается.

Сгущались сумерки, по реке поплыл вечерний туман. Издали доносился приглушенный расстоянием гул артиллерийской канонады, и земля под ногами вздрагивала, словно где-то в стороне проносился табун коней. С переправы то и дело слышалось:

— Грузится колхоз «Индустрия». Грузится детдом Крупской. Лейтенант Архипов, какого черта вы задерживаете третий паром?

— Отчаливаю!

Голос прервался, будто человеку тому, невидимому лейтенанту Архипову, внезапно закрыли рот. Прошла секунда, другая — и вдруг тревожное и холодящее пронеслось от края до края:

— Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Из-за излучины Волги, натужно воя моторами, показались темные силуэты самолетов. Бомбардировщики летели невысоко, отчетливо видные на закатной полосе неба. Где-то в той стороне, откуда они появились, зататакали скорострельные зенитные пушки, застрочили зенитные пулеметы, потянулись в небо светящиеся трассы, вокруг самолетов, подобно клочкам серой ваты, возникли пятна снарядных разрывов, но «юнкеры», сопровождаемые истребителями, шли, не сворачивая с курса. Первая тройка их шла над Волгой по ее те-

чению, выстраиваясь машина за машиной гуськом и приближаясь к груженому парому на стрежне реки. Вдруг головная машина будто клюнула носом и пошла вниз в пикé. Жутко взвыли сирены на ее плоскостях, четко видно стало, как отделились сигарообразные, оперенные стабилизаторами бомбы, как они упали в воду и смерчи воды взметнулись в небо вместе с обломками парома. В ту же секунду бомбардировщик, показав желтые кресты на фюзеляже, с ревом взмыл вверх, едва не коснувшись самым же им поднятых столбов воды и донного ила.

Не было времени пережить и осознать этот ужас, совсем не было, ни секунды, потому что следом за первым устремился второй самолет. Теперь зенитки били уже отсюда, с берега, с переправы, но и второй, освободившись от груза, ушел безнаказанно.

По здравому разумению третьему бомбардировщику незачем было бросать бомбы в реку, напрасно тратить боезапас: по реке плыли лишь остатки парома, обезумевшие животные и уцелевшие люди. Но здравое разумение по-фашистски значило лишь одно — делай, как приказано. Сорвавшись в пикé и включив сирены, третий в упор против себя встретил крупнокалиберный зенитный пулемет, установленный на броневом катере Каспийской военной флотилии. Никто не заметил, как этот катер отчалил от берега и вышел на стрежень реки — на поединок. Пулемет бил по стервятнику в упор, по винтам. Видно стало, как страшная машина качну-

лась, стремясь уклониться, как вразброд, не-прицельно посыпались бомбы, как пламя жадным языком лизнуло грязное от масляных подтеков брюхо чудовища, как, пропустив нужный миг и не в силах преодолеть инерцию падения, оно рухнуло, врезавшись в противоположный берег, и вспыхнуло черным красным огнем.

Криком ликования отозвалась переправа: Возмездие! Возмездие! Но рано было еще ликовать — вторая тройка «юнкерсов», сделав облет, уже заходила с другой стороны, нацеливаясь в этот раз не на реку, а на скопление людей, машин и животных у переправы. Какой страшный вой, какой гнетущий и леденящий душу! Как изуверски, как подло это придумано — перед тем как разорвет человека в клочья, пусть он прежде потеряет рассудок от этого воя, пусть он умрет не с гордым сознанием своей правоты и величия, а подавленным и жалким, как раб! Вот они, фашисты...

Трудно сказать, так ли думала в этот момент Делгир, — она и сама не могла бы, пожалуй, ответить на это даже себе самой, — но она стояла прямо, будто в оцепенении, с ужасом глядя на ад вокруг, чувствуя в себе дрожь и тошноту. Она видела, как рухнул еще один самолет, как волной взрыва отбросило от берега и перевернуло вверх килем бронированный катер с пулеметом, как, расстреливая на бреющем полете последних уцелевших на реке, с ревом проносились истребители, и как наконец, совсем вблизи, там, где

стоял походный склад и «квартира-контора» Ногалы, поднялась в небо земля со всем, что было на ней. В ужасе Делгир закричала. Но она не закричала — это лишь казалось ей так, это лишь внутренне, молча и оттого еще более страшно она закричала. «Ложись!» — завопил рядом кто-то. Будто завоженная видом летящего самолета, Делгир не шевельнулась, тогда этот «кто-то» грубо сбил ее с ног, и она, уже падая, увидела, как прямо на нее, прямо ей в лицо, ей в глаза летит бомба.

Взрыва она не слышала. Она только явно ощутила, как вся земля под нею (вся!) приподнялась, затем опустилась, и в тот момент, когда она опустилась, Делгир почувствовала в себе пустоту и легкость, как при падении с высоты. Следом за тем страшная тяжесть навалилась на нее. Откуда-то доносились истошные крики людей, рев верблюдов, уханье зенитных орудий, но все эти звуки были как бы сквозь сон.

— Делгир! Делгир!

Она с трудом повернула голову и увидела над собой Дарью. Та уронила голову ей на грудь и принялась кричать от радости:

— Делгир! А уж я думала... О, Делгир! Вставай, все уже кончилось! Все кончилось...

— Дарья, помоги мне. Я должна что-то сделать, но не знаю что. Я забыла... Что-то важное, очень важное!

— Я не знаю, о чем ты, — растерялась Дарья. — Отара?

— Нет. Не то...

Тут рядом с собой она услышала крик ребенка, и этот крик вывел ее из забытья. Поднявшись, Делгир оттолкнула пытавшуюся удержать ее Дарью, побежала и скоро столкнулась с Эрдни. Она схватила его за руку, боясь услышать в ответ что-то страшное:

— Где... мои... дети?

— Там! — указал Эрдни в сторону сгрудившихся кибиток. — Там они. У Манкира...

Она побежала дальше, но тревога ее не прошла. Почему у Манкира? Почему у Манкира? — стояла, не двигалась дальше ее мысль.

Делгир не встречала Манкира давно. Вспоминался он ей только так: Манкир, расставив руки, надвигается на нее, чтобы схватить и бросить на кошму; Манкир стоит перед нею с опущенной головой «застрели, но прости»; Манкир во время собрания сидит на подоконнике и смотрит, как она плачет...

Походная кибитка, в которой она оставила детей, лежала на боку с сорванной крышей. Одно колесо чудом повисло на изломанной оглобле, два валялись рядом с воронкой, еще дымившейся горькой гарью, валялся сундучок Делгир, в котором она хранила одежду, ружье Цекри с переломленным ложем...

— Анджа! Булгун! — стала кричать Делгир.

Из соседней кибитки, тоже полуразрушенной, вышла старая Ноган, мать Эрдни:

— Вон там твои детишки, в балке! Если бы не Манкир... — Она устало махнула рукой. — О, горе нам, горе! Убило Отхон, убило Замбэ, Санджи, Ногалу. А Байрха осталась без руки...

Спотыкаясь, Делгир заспешила в балку, захваченная только одним стремлением: дети! Но в памяти ее все стояли неосознанные, как бы еще не прочитанные ею слова: «Убило Отхон, убило Замбэ, Санджи, Ногалу...» Как — Замбэ и Ногалу? Но в этот момент она увидела детей.

Манкир сидел на дне оврага, держа на руках маленькую Булгун, Анджа, притихший, как испуганный зверек, сжавшись в комочек, лежал на расстеленной кошме. Даже когда он увидел мать, и тогда он не вскочил, а только чуть улыбнулся.

— Мама! Иди сюда. Мы тут с дядей Манкиром...

Манкир тревожно поглядывал на Делгир. Рубаха на нем была изорвана, плечо неумело обвязано грязной тряпкой, через нее просочилась кровь. Подбежав, Делгир схватила девочку и так прижала к себе, будто кто-то мог отнять у нее ребенка. Потом она протянула руку к сыну, обняла его и заплакала. Слезы ручьями катились по ее щекам, она не вытирала их. Дети были с нею, а больше ей ничего не надо. Ничего... Но даже через это большое удовлетворение, как размеренный молоточек, пробивалась мысль — Замбэ и Ногала, Замбэ и Ногала...

Анджа рассказывал:

— Мы сидели с Булгун в кибитке. А оно как бахнуло! Потом опять, совсем близко... Булгун орет, а я ничего... Прибежал дядя Манкир, схватил нас на руки, понес. А в это время опять бухнуло, дядя Манкир закрыл нас собой, а у меня в ушах зазвенело! Дядю Манкира ранило, а нас нет... Мы есть хотим, мама.

Делгир еще раз взглянула на Манкира, и тот взглянул на нее. Взгляд его был сплошь только преданность, он до сих пор чувствовал себя виноватым перед ней, хотя с того вьюжного вечера прошло много времени...

Делгир сказала:

— Спасибо тебе, Манкир. Если хочешь, я поцелую тебя...

Тот покачал головой:

— Не надо. — Он поднялся, поправил повязку на плече, потрепал Булгун по головке. — Не надо, Делгир... Я пойду...

И ушел.

В небе зажглись звезды. Небо было вечным, покойным, но никто уже не верил в его покой и вечность, небо могло обмануть, могло бросить на землю смерть. Земля была теплой, родной, но и в землю эту теперь не верилось, она могла взметнуться как раз в тот миг, когда пожелаешь найти в ней убежище.

«Замбэ, Ногала, — настойчиво стучал молоточек. — Замбэ, Ногала...» Делгир стала напоминать. Часа за три до воздушной тре-

воги Эрдни сказал ей о раскаянии Замбэ. Он сказал ей, забывая о ее душевном спокойствии, не подозревая, что лишь передал ей свою собственную душевную боль. Говорили также, что накануне бомбежки видели их вместе — Замбэ и Ногалу. Оба были встревожены и не дружны, они спорили о чем-то, затем вошли в «контору-квартиру» Ногалы.

«Нет сомнения, — думала Делгир. — Он пришел убедить Ногалу поступить так же, как поступил он сам — раскаяться. Убедил ли он ее, нет ли — какое это теперь имеет значение? Гибель обоих уравнила их со всеми. Казалось, все было тут ясно, все объяснилось, но молоточек все стучал: «Замбэ — Ногала. Замбэ — Ногала...»

Нет, не только в том была боль, что погибли два человека, а в том, что вместе с ними погибло нечто большее — великая победа — каждого над самим собою, великая надежда на духовное возрождение. «Замбэ — Ногала. Замбэ — Ногала...» И любовь, конечно, — вот что еще погибло вместе с ними. Пусть грешная, пусть какая-никакая, а все же любовь...

И другое что-то никак не давалось раскудку, и эта невыразимость мучила Делгир. Душа ее просила то ли страстной молитвы, то ли яростного проклятия, то ли другого какого самого крайнего выражения, самого-самого крайнего!

Но кругом уже шла обычная жизнь: отару собрать, уцелевшее имущество и остатки

продовольствия собрать, детей накормить и пристроить на ночлег, старика Бадму приласкать и ободрить, Манкиру рану перевязать — заботы, заботы...

С переправы слышалось:

— Грузится колхоз Октябрьской революции Большинского района! Грузится швейная фабрика Ногина!

Грузится, грузится, грузится... Ходили от берега к берегу уцелевшие парома, сновали по реке катера и лодки, обшаривали черное небо прожекторы, гудела от далекой канонады земля, плескалась у берегов великая Волга, унося с собой кровь людей.

Шла война...

Они переправились только к вечеру следующего дня. На высоком берегу под тополем похоронили погибших и долго стояли, склонив головы, у братской могилы, долго молчали, смахивая слезы и избегая смотреть друг другу в глаза, боясь увидеть в них свою боль и этим ее умножить.

Эрдни, почерневший от бессонных ночей, сказал:

— Не надо плакать, друзья. Зажмите сердце в кулак, нам еще многое предстоит. Бывают времена, когда народ должен стать железным...

Но вопреки его воле и этим его словам, губы его дрогнули, в глазах появились слезы, и Эрдни умолк. К могиле подошли два солдата в вылинявших от солнца и пота гим-

настерках, постояли, затем подняли винтовки и трижды выстрелили.

И в этот момент, когда земля навеки приняла в себя своих детей, когда она упокоила и породнила всех — и правых, и неправых, и когда этот скорбный акт был завершен залпом, Делгир закричала, находя в этом крике выход невыразимости, которая так ее мучила:

— Цек-ря!!

НАКАНУНЕ БЕССМЕРТИЯ

— Э-гей, Делгир!

Цекре показалось, что он и впрямь крикнул, хотя на посту так делать не полагалось, и он, конечно, не сделал этого. Но он так горячо и с такой тоской позвал мысленно свою Делгир, что ему почудилось, будто горы вокруг откликнулись эхом, этим непривычным для него, пугающим голосом.

Цекря не мог привыкнуть к горам. Они были чужды и недоступны его пониманию, в них таилось что-то недоброе, что-то в них всегда настораживало. Да, горы — не степь... Не потому ли тоска по родным местам особенно остра была здесь, в этих тесных горах, и не потому ли не он один мысленно посылал свой зов «Эге-гей!» туда, каждый в свою далекую даль, за горы?

Сменившись на посту, он вошел в землянку и присел на корточки у входа.

— Они там все без нас шлюхами стали, на любого тыловики вешаются...

— Дурак! Им там не слаще, чем нам здесь. Все на их плечи легло.

— Не слаще? — маленький, весь взъерошенный солдат Ванин сбросил с себя шинель, которой был укрыт несмотря на жару в землянке, вскочил и лихорадочно зашарил по карманам. — Не слаще, говоришь? — Он наконец извлек затасканное письмо-треугольник, развернул его и зло прищурил глаза: — Не слаще, да? Слушай, что братан мой от-

писывает. «А еще добавлю, что вернулся домой Федька Трегубов, тот самый, которого мы Федькой-толстозадим звали, помнишь? Только теперь он уже не Федька, а Федор Игнатьич, завмаг сельпо. И теперь его толстозадим никто не зовет, хотя задница у него еще жирнее стала, поскольку жрет он и пьет, как свинья. А бабы и девки вокруг него, как мухи вокруг меда, и Зинка твоя тоже. Сам я видел, как тискал он ее в своем сельпе... Ты отпиши ей, чтобы не позорила она наш честный род...»

Ванин опять свернул письмо треугольником и сунул его в карман:

— Отписывать не буду. А вот приеду домой...

Все у них сейчас обостренно было, оттого и виделось все не так. Сердце подсказывало — надо верить, без веры нельзя жить, задохнешься. А тоска разъедала душу, порой выть по-волчьи хотелось от этой тоски. Бои — еще ничего, а как затишье — хоть пропадай. Лезут и лезут в голову темные мысли, не отобьешься от них, душа пустеет от этого, на человека становишься не похож.

«Увидеть бы сейчас Делгир, — думалось Цекре. — Один-единственный разочек бы посмотреть на нее, услышать ее голос, увидеть бы Булгун и Анджу, пальцем бы только дотронуться до них, и того довольно бы».

Подсел Витюня Сабанеев, с которым Цекря приволок тогда немецкого офицера:

— У Ванина душа горит, его понять можно. А ты? С тобой-то что случилось?

Он умел разогнать тучи над головой, этот маленький, похожий на мальчишку солдат. У него была большая душа, в нем было много тепла. Сколько раз, бывало, подкрадется отчаяние, а Витюня Сабанеев тут как тут со своей улыбкой.

— Письмо от сестренки получил! — крикнет он звонко. — Пятерка по математике! Вот чертенок, до войны еле-еле на тройках ползла, а сейчас... Давайте всем отделением ей напишем: «Мо-ло-дец, Гал-ка!» Кто за то, чтобы написать?

Хмурые лица начинали светлеть, в глазах появлялся живой огонек. Никто никогда не видел этой Галки, которая получила пятерку, но, глядя на Витюню, разукрашенного конопушками, солдаты вспоминали своих братишек и сестреноч, где-то за тридевять земель отсюда сидящих за партами, и чувство нежности входило в их души.

— Валерка, брательник мой, спрашивает как-то у бати: «Ты почему, когда выпимиши, плачешь? Это у тебя самогонка из глаз каплет?..» Вот паршивец!

— А у меня сынишка, шестой ему теперь, на войну уже собирается. Нарвал, пишет жена, крапивы, положил в сумку и говорит: «С собой на фронт заберу, фашистов по заднице бить». Вот дает!

— Дает! Они там, чертенята, все теперь вояками стали!

— Дочка моя, Лизка, отколола номер — век не забуду. Погорячился я как-то, приложил, значит, руку к жене, слегка, конечно,

больше для острастки. А вечером прихожу с работы, гляжу — у забора толпа. Чего это, думаю, собрались тут люди? Протиснулся поближе — батюшки светы! Висит на заборе лист вроде стенгазеты, и на этом листе — не то зверюка какой, не то первобытный человек. И подпись: «Это мой папа который бил мою маму». Меня аж в жар бросило!

Хочут солдаты, хохочет и сам рассказчик. Тогда, стоя у «стенгазеты», он небось побелел от гнева, а теперь вспоминает это с любовью, будто все, что у него было и есть в жизни, — это его маленькая Лизка.

Да, умел Витюня Сабанеев разогнать тучи, хотя сам он даже не замечал, что снимает тяжесть с плеч, он никогда и не думал об этом. Просто он всегда был самим собой — вот и все...

Но сейчас Цекря даже Витюниной бодрости не желал, ему хотелось остаться наедине с мечтой: «Хоть бы разочек увидеть ее! Хоть бы один разочек...» Он вышел из землянки, но здесь мечта его угасла при виде гор, искляка без простора.

Да, горы — не степь! Выйди в степь, поднимись на курган, и светлый мир ляжет перед тобой, ты увидишь все, что есть в этом мире, от края до края, ничто не укроется. В степи не надо оглядываться: если пуля просвистит над головой, ты быстро отыщешь стрелка, а в открытую драться спокойнее... Горы — совсем другое. Здесь за любым камнем, за любой скалой, в любой расщели-

не может затаиться враг, втройне опасный оттого, что невидимый. Тропки, тропинки, ущелья, обрывы, дикие нагромождения обвалов — как знать, где поджидает тебя опасность?

Скоро месяц, как рота капитана Лацкиса заняла неширокий участок фронта вдоль горного ручья, а Цекря Лиджиев был не в силах избавиться от гнетущего чувства неуверенности и внутреннего напряжения, которое изматывало его до предела. Ожидание незнаемого сковывало его волю, он стал вялым, рассеянным, перестал быть похожим на самого себя.

— Никогда я их не пойму, эти горы, черт бы ими подавился, — сказал Цекря Витюне, который вышел следом за ним. — Черная душа какая-то... Вот стоит, понимаешь ли, перед тобой и молчит...

Витюня, который вырос на Алтае, и здесь отыскал для Цекри нужные ему слова.

— У тебя это временно, — сказал он. — Еще неделя-другая, и ты успокоишься. Горы надо понимать. Как поймешь, так и полюбишь. И они тебя полюбят...

— Пока они меня полюбят, — криво усмехнулся Цекря, — я десять раз сыграю в ящик. Мне все время кажется, что в мою башку целятся из-за той вон глыбы, видишь? Или вон той, над ручьем. Они целятся, а я их, гадов, не вижу. Ты понимаешь меня? Скорее бы уже началось... Какого черта мы ждем? Сидим, как курортники...

2

Капитан Лацкис был такого же мнения. Он понимал, что в горах есть возможность измотать противника и потом нанести удар, но вместе с тем видел, что бездействие расхолаживает, снижает боевой дух. И капитан Лацкис все чаще соглашался: «Да, скорее бы уже началось...»

Наконец, когда ожидание превратилось чуть ли не в пытку, судьба «милостиво улыбнулась», послав им желаемое: немцы пошли в наступление. Еще в предрассветной мгле с дальних огневых точек они открыли такой ураганный огонь из пушек и минометов, что, казалось, горы должны были взорваться от грохота, усиленного тысячекратными повторами эха. Снаряды и мины крушили и бросали с круч многотонные замшелые камни, раскалывали в щебень вершины скал, гудели ущелья, ломались, как спички, вырванные с корнем буки и ели, дым, пыль и гарь ползли через перевалы к морю.

Появились «юнкеры» и «мессершмитты». Обычно летающие клином или пеленгом, сейчас они растянулись в линию и, роняя бомбы, строча из пулеметов, шли цепь за цепью, неуязвимые, наглые. Неожиданно из-за дальнего хребта вынырнула тройка наших истребителей «чайка». Даже видавшим виды солдатам страшно было смотреть на трех смельчаков. Что могли они сделать, эти три маленьких бипланчика устаревшей конструкции против армады? На одну из «чаек», отко-

ловшуюся от своего звена, навалились два «мессершмитта» и расстреляли ее в упор. Короткая яркая вспышка, и шлейф дыма устремился к земле.

— Ох, гады! Ох, гады!

Цекря в ярости заскрипел зубами, следя за оставшейся парой наших истребителей. Чудом им удалось прорваться к левофланговому бомбардировщику и атаковать его с хвоста. И когда «юнкерс» задымил, когда, завалившись на правое крыло, он стал падать, Цекря закричал «чайкам»:

— Теперь уходите, братцы! Уходите!

Но было уже поздно. Окружив «чаек» плотным кольцом, «мессершмитты» зажали их, не давая им вырваться. К «чайкам» потянулись десятки огненных трасс, даже с земли видно было, как они ближе и ближе подбираются к крыльям. И тогда, как сговорившись, оба летчика одновременно ринулись на таран. Страшной силы взрыв потряс горы.

А от камня к камню, от одного уступа к другому уже бежал связной капитана Лацкиса:

— Приготовиться! Гранаты — к бою!

Из-за ближнего перевала показалась первая цепь фашистов. Самолеты уже улетели, артиллерия умолкла, и на короткое время в горах наступила тишина. Гитлеровцы, не видя перед собой цели, не стреляли и двигались медленно, будто не решаясь сделать рывок, не стреляли и наши, выжидая, когда же подойдут поближе. Вот они обогнули нависшую над ручьем скалу, остановились, один

за другим стали подбираться к ручью... Цекря видел, как длинный офицер прыгнул на камень и, подняв над головой пистолет, что-то крикнул своим солдатам, и сразу же ручей заполнился грязно-зелеными френчами и пилотками.

— Надо стрелять! — вздрагивая от возбуждения, прошептал Цекря. — Чего мы ждем?

Витюня молчал. Он тоже чувствовал, как все в нем напряглось и как ему трудно удержаться, чтобы не нажать на спусковой крючок автомата. Усилием воли он заставил себя подавить нетерпение. Никто не стрелял, все ожидали сигнала.

Наконец позади Цекри и Сабанеева взлетела красная ракета, и в ту же секунду с трех сторон по ручью ударили пулеметы. Не ожидая такого ураганного огня, немцы попятись было назад, но длинный офицер, который первым бросился через ручей, опять что-то закричал и, увлекая солдат за собой, ринулся к берегу. Из узкого ущелья все выползали и выползали грязно-зеленые мундиры и бежали к ручью, теперь уже не оглядываясь по сторонам и не озираясь, на ходу строча из автоматов и наугад швыряя гранаты.

Цекре показалось, что такого грохота он не слышал за всю войну. Увидев, как фашисты, перебравшись через ручей, поползли меж камней повыше, стремясь зайти в тыл, Цекря закричал Сабанееву, но сам не расслышал своего голоса. Все вокруг гудело, будто раскаты грома сотрясали воздух и горы.

Вдруг Цекря увидел внизу еще одну группу фашистов, прижавшихся к скале и выжидающих момент, чтобы перебежать простреливаемый участок. Он толкнул Сабанеева и глазами указал ему на опасность. Витюня кивнул, поднял гранату, подождал, пока Цекря приготовится, и закричал:

— Давай!

Они метнули гранаты одновременно и увидели, как смело с уступа кучку фашистов. Один из них без каски повис на камне, конвульсивно дергая ногами. Цекря дал короткую очередь, фашист повисел секунду-две и рухнул.

Теперь Цекрю было не узнать, теперь он воспрянул духом, он обрел уверенность и даже спокойствие.

Он всегда был горяч в бою, но это не мешало ему в то же время быть расчетливым, мгновенно оценивать обстановку. Чем острее была опасность, чем сложнее складывалась эта обстановка, тем быстрее и тем вернее он принимал решения, как подсказывали ему его солдатский опыт и врожденная интуиция степняка.

3

Понеся большие потери, немцы тем не менее не отступали, а только изменили тактику. Теперь они уже не атаковали в открытую, а небольшими группами по восемь—десять человек просачивались в глубь обороны, часто

не принимая боя, обходя узлы сопротивления и пробираясь все выше в горы, в тыл наших расположений.

Капитан Лацкис понимал опасность, но дать приказ отойти не мог, так как это оголило бы фланги соседних рот и дало бы немцам возможность окружить весь полк. Сообщив командиру полка о положении роты, Лацкис попросил помощи. Как он и ожидал, ответ пришел отрицательный: «Резервов нет, ни шагу назад, стоять насмерть».

Рота таяла на глазах. Несмотря на отчаянное сопротивление наших бойцов, немцы теснили их все дальше. Временами казалось, что и фашисты уже выдыхаются, стоит продержаться еще немного, и они откатятся назад, но это только казалось. Фашисты действительно на несколько минут затихали, однако для того только, чтобы сосредоточиться и с новой силой ударить.

Вскоре стали иссякать боеприпасы, в ход пошли камни. Чуть в стороне на краю пропасти стоял солдат Андрей Алексеев — Цекря видел его отчетливо, будто бы в двух шагах, — тот самый студент Московского университета, который был неисякаем на шутки. Лицо его казалось мертвенно-бледным, хотя и спокойным. К Андрею, держа у груди автоматы, подходили двое немцев с засученными по локоть рукавами. Один из них что-то кричал, и Андрей медленно поднимал руки вверх.

— Сдается, гад!

Если в его автомате остался бы хоть один

патрон, Цекря не задумываясь пустил бы пулю в Андрея. Но тот шагнул навстречу немцам, обхватил их руками и рванулся к пропасти. Это было так неожиданно, что Цекря даже подумал, не показалось ли ему. Но каменная площадка, на которой только мгновение назад стояли Андрей и эти двое, была пуста, в темный провал пропасти падали мелкие камешки...

Цекря вытер запекшиеся губы:

— Прости, брат...

Над его головой зацокали пули, и он, пригнувшись пониже, тронул за плечо Витюню:

— Давай отойдем за утес.

Витюня молчал. Он сидел прислонившись спиной к камню и молчал. Пустой автомат его лежал у него на коленях, в руке зажата была последняя граната.

— Витюня! — кричал Цекря. — Витюня, что ты?

Он присел рядом, взглянул в его лицо. По щеке, прочерчивая неширокий след меж детских конопушек Витюни, ползла тоненькая струйка крови. Витюня был еще жив, по в глазах его, чистых и ясных — смерть еще не затуманила их, — уже виделась отрешенность, будто смотрел Витюня только в самого себя и видел то, чего увидеть больше никто не мог.

— Они все равно не пройдут, — прошептал он. Потом он на секунду закрыл глаза, снова открыл и добавил: — Напиши Галке, Цекря. Скажи ей...

И уронил голову на грудь.

Цекря осторожно взял из его руки гранату и огляделся. Метрах в сорока от него, окружив капитана Лацкиса тесным кольцом, стояли солдаты. Цекря узнал Чумака, сержанта Федосеева, Дышло... У них еще были гранаты, и они изредка бросали их в гущу зеленых френчей, подползающих к площадке. Потом он увидел лейтенанта Коробова с группой солдат, спускающихся с соседней скалы. «Значит, — подумал он с надеждой, — все же прислали подмогу, лейтенант Коробов из другой роты...» Он решил, что ему все же следует отойти за утес, а затем перебраться поближе к Лацкису. Накрыв лицо Витюни каской, он осторожно шагнул к тропе и в это время почувствовал, как его сильно толкнуло в грудь. Не удержавшись на ногах, он упал рядом с Витюней, больно ударившись головой о камень. Просунув руку под гимнастерку, Цекря провел ею по груди, пальцы стали липкими. Боли он не чувствовал, только к горлу подступила тошнота и потемнело в глазах. С трудом приподнявшись, Цекрясел в минуту сидел, ни о чем уже не думая. Из-за утеса, к которому он хотел пробраться, раздался выстрел, потом еще и еще. И опять его толкнуло сначала в левое плечо, затем пониже ключицы, толкнуло и обожгло. Он прижался щекой к холодному камню и застыл, не в силах открыть глаза и еще раз взглянуть на горы.

Прошла минута, может быть, час, время теперь для Цекри остановилось. Теперь мгно-

вения превратились в годы, в те прожитые годы, которые сейчас подступили к нему вплотную, чтобы он мог рассмотреть их угасающим сознанием. С усилием поднимая веки и сквозь пелену обволакивающего его тумана вглядываясь в ущелья, он видел нависшие над этими ущельями скалы, видел ручей, через который продолжали пробираться немцы, но дадыше, за ручьем, уже не было гор. Степь лежала желто-зеленым ковром, и над ней, дрожа, плыла легкая дымка. Кто-то, кого Цекря не мог рассмотреть, кричал из степи:

— Цекря-а!

Какой знакомый голос... Такой знакомый, что Цекря узнал бы его среди тысяч других! Но где же она сама, его Делгир, и почему в ее голосе столько тревоги? Может быть, над нею опасность и она зовет Цекрю на помощь?

— Эге-ей, Делгир, я иду к тебе!

Он легко прыгает с камня на камень, с одного уступа на другой, он спешит к Делгир, чувствуя, как ее тревога передается ему. Вот и ручей остался позади, степной ковыль стелется под ногами Цекри, жаркий воздух степи бьет ему в лицо, а Делгир все нет и нет. Тогда он останавливается и прикладывает ладони к губам:

— Эге-ей, Делгир!

Ее прохладные руки ложатся ему на плечи. Он еще не видит ее, но знает, что это она, потому что ни у кого другого нет таких рук, никто во всем мире не может произнес-

ти его имя с такой теплотой. Он медленно оборачивается и видит ее глаза: почему она плачет?

— Зачем ты уходишь, Цекря? Я не смогу без тебя...

— Разве я ухожу? Я пришел к тебе. Я совсем пришел...

— Нет, ты уходишь, я все вижу. Тебя убили, и теперь я осталась одна...

— Меня убили?

Ему хочется посмеяться над такими странными ее словами, но он не смеется: не надо ее обижать. «Тебя убили...» Вот сейчас он возьмет ее на руки и понесет через степь. А потом на степь опустится ночь, зажгутся звезды...

Пуля ударила о камень над его головой, взвизгнула и рикошетом ушла. Цекря открыл глаза и ничего не увидел вокруг, настолько плотным был туман. Он был в нем самом, этот туман. Чтобы его разорвать, ему пришлось сделать большое усилие. Вершины гор, небо, ручей и горные тропки снова приняли ясные очертания. Из-за ближнего перевала к ручью скатывалась лавина солдат, неудержимо скатывалась, как обвал, сметая грязно-зеленые мундиры. Цекря видел блестящие на солнце штыки, слышал стрельбу, раскатывающееся по горам «ура!», и сердце его наполнилось радостью. Он шевелил губами, будто бы тоже кричал, не замечая, что изо рта у него течет кровь и тело его вздрагивает в предсмертной агонии.

Потом он увидел трех гитлеровцев, бегу-

щих вниз по тропе. Изредка останавливаясь и прячась за камнями, они стреляли по роте Коробова, спускавшейся к ручью. Превозмогая боль, Цекря дотянулся до автомата, подтащил его к себе и прижал к груди, забыв, что пуст автомат, пуст! Немцы были уже близко. Мимо они не могли пройти: слева был крутой обрыв, справа — отвесная скала, а через его площадку и шла та самая тропа, которая вела к ручью.

Он ждал.

Сейчас они обходят утес. Обошли... Зацкали пули — без сомнения, это наши солдаты, увидев вражеские каски, открыли огонь. Те, трое, упали и поползли. Через минуту они увидят Цекрю... Жаль, что он их не увидит — глаза его были мертвы. Он на ощупь отыскал последнюю гранату Витюни Сабанеева, поднес предохранитель к зубам и застыл. Встать бы во весь рост, поднять выше голову, крикнуть так, чтобы загрели от его голоса эти чуждые ему горы:

— За Родину!

И только тогда умереть...

Но он не мог этого сделать. Последние остатки сил он истратит не так, разве это важно, как он умрет? Важно другое...

Один за другим гитлеровцы вползли на его площадку. Цекря лежал вниз лицом, рядом с ним лежал Витюня Сабанеев — русский солдат с детскими конопушками. Тот, кто первым вполз на площадку, на всякий случай дал короткую очередь по Витюне, помня заповедь — «В них надо стрелять да-

же в мертвых». Другой поднял пистолет, нацеливаясь в спину Цекре.

И не успел.

Сначала Цекря услышал взрыв своей гранаты, а потом, за миг до смерти, голос Делгир:

— Цекря!

Больше он ничего не слышал.

Памяти наших отцов и старших братьев,
Памяти вечно молодых солдат и офицеров
Советской Армии, павших на фронтах
Великой Отечественной войны

РЕКВИЕМ

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ! ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА ГЕ-
РОЯМ! СЛАВА!

...НО ЗАЧЕМ ОНА ИМ, ЭТА СЛАВА — МЕРТВЫМ! ДЛЯ ЧЕГО
ОНА ИМ, ЭТА СЛАВА — ПАВШИМ! ВСЕ ЖИВОЕ СПАСШИМ, СЕ-
БЯ — НЕ СПАСШИМ! ДЛЯ ЧЕГО ОНА ИМ, ЭТА СЛАВА!

ЕСЛИ МОЛНИИ В ТУЧАХ ЗАПЛЕЩУТСЯ ЖАРКО И ОГРОМНОЕ
НЕБО ОТ ГРОМА ОГЛОХНЕТ, ЕСЛИ КРИКНУТ ВСЕ ЛЮДИ ЗЕМНОГО
ШАРА — НИ ОДИН ИЗ ПОГИБШИХ ДАЖЕ НЕ ВЗДРОГНЕТ.

ЗНАЮ — СОЛНЦЕ В ПУСТЫЕ ГЛАЗНИЦЫ НЕ БРЫЗНЕТ!

ЗНАЮ — ПЕСНЯ ТЯЖЕЛЫХ МОГИЛ НЕ ОТКРОЕТ!

НО ОТ ИМЕНИ СЕРДЦА, ОТ ИМЕНИ ЖИЗНИ, ПОВТОРЯЮ:
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

И БЕССМЕРТНЫЕ ГИМНЫ, ПРОЩАЛЬНЫЕ ГИМНЫ НАД БЕС-
СОННОЙ ПЛАНЕТОЙ ПЛЫВУТ ВЕЛИЧАВО. ПУСТЬ НЕ ВСЕ ГЕРОИ
ТЕ, КТО ПОГИБЛИ, — ПАВШИМ ВЕЧНАЯ СЛАВА! ВЕЧНАЯ СЛАВА!
ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО, ГОРЕМ ВСПОМНИМ СВОИМ — ЭТО
НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НАДО ЖИВЫМ! ВСПОМНИМ ВСЕХ,
КТО ГОРДО И ПРЯМО ПОГИБЛИ В ЭТОЙ БОРЬБЕ. ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ
ПРАВО — ЗАБЫВАТЬ О СЕБЕ. ЕСТЬ ВЫСОКОЕ ПРАВО — ПОЖЕ-
ЛАТЬ И ПОСМЕТЬ. СТАЛА ВЕЧНОЮ СЛАВОЙ МГНОВЕННАЯ
СМЕРТЬ!

О его гибели она узнала вскоре после то-
го, как вернулась из Казахстана. Не успела
Делгир показаться в хотоне, как старая
Бальжрма взяла ее детей в свою кибитку.

— Теперь ты их больше не получишь. До-
вольно они натерпелись горяшка, маленькие
мои сиротушки...

— Вы почему плачете, Бальжрма?

Та отвернулась и рукавом вытерла слезы.

— Ничего я не знаю, дочка. Ничего я не
знаю, и ты меня ни о чем не расспрашивай.

Делгир рассеянно посмотрела на детей, на
старуху и устало опустилась на кошму, сама
не зная, почему неожиданно навалилась ус-
талость и почему заныло сердце.

Пришел Эрдни, а Бальжрма, подхватив
детей, увела их. Эрдни и Делгир остались с
глазу на глаз. Он по-родственному обнял ее
за плечи и долго не отпускал. Молчал он тя-
жело. Отстранившись, Делгир взглянула в
его осунувшееся лицо:

— Вы пришли что-то сказать?

— Да. Я принес тебе плохую весть, Дел-
гир...

Он умолк, не в силах продолжать, а она
уже все поняла. Он ожидал, что она закричит,
может быть, даже упадет и будет метаться от
горя, но Делгир только закрыла глаза, чуть
покачиваясь и сцепив на груди пальцы. Когда
она снова глянула на Эрдни, он не узнал ее:
глаза ее погасли, лицо стало каменным, плечи
опустились.

— Я пойду, Эрдни, — глухо, будто изда-
лека откуда-то проговорила Делгир, будто

РАЗВЕ ПОГИБНУТЬ ТЫ НАМ ЗАВЕЩАЛА, РОДИНА! ЖИЗНЬ ОБЕЩАЛА, ЛЮБОВЬ ОБЕЩАЛА НАМ, РОДИНА. РАЗВЕ ДЛЯ СМЕРТИ РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ, РОДИНА! РАЗВЕ ХОТЕЛА ТЫ НАШЕЙ СМЕРТИ, РОДИНА! ПЛАМЯ УДАРИЛО В НЕБО — ТЫ ПОМНИШЬ, РОДИНА! ТИХО СКАЗАЛА: «ВСТАВАЙТЕ НА ПОМОЩЬ...» РОДИНА. СЛАВЫ НИКТО У ТЕБЯ НЕ ВЫПРАШИВАЛ, РОДИНА. ПРОСТО БЫЛ ВЫБОР У КАЖДОГО: Я ИЛИ РОДИНА. САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ДОРОГОЕ — РОДИНА. ГОРЕ ТВОЕ — ЭТО НАШЕ ГОРЕ, РОДИНА. ПРАВДА ТВОЯ — ЭТО НАША ПРАВДА, РОДИНА. СЛАВА ТВОЯ — ЭТО НАША СЛАВА, РОДИНА!

ветки мертвого дерева коснулись друг друга и издали этот глухой звук. — Я пойду...

Вышла она как слепая.

Она и жила теперь, не видя ничего впереди. Она даже не могла бы сказать — живет ли она. Мир был широк и светел, в нем продолжали кипеть страсти, в нем рождались и умирали надежды, радость каждодневных побед озаряла сердца людей, но все это было не для нее. Мир ее стал узок и тесен, как загон для овец: прошлое умерло вместе с Цекрей, будущего без Цекри она не желала.

Старая Бальжрма однажды сказала ей:

— У меня не так уж много ума, дочка, но я знаю большую правду. Хочешь, скажу тебе?

— Скажите... — равнодушно согласилась Делгир.

— Правда в том, дочка, что жизнь наша — вечная. Вот скоро мы с Бадмой уйдем на покой, умрем, значит... Все ведь когда-нибудь должны помереть. Но останутся наши дети и дети наших детей. Мы с Бадмой будем жить в них. Во внуках и правнуках своих будем жить, понимаешь, дочка? Кровь наша в них, и когда нас совсем с Бадмой не станет, кровь наша все равно будет жить... Посмотри на Булгун, — продолжала Бальжрма, — посмотри на Анджу. Разве ты не видишь в них Цекрю? Зачем же ты убиваешь в себе жизнь? Она нужна твоим детям...

ПЛЕСКАЛОСЬ БАГРОВОЕ ЗНАМЯ, ГОРЕЛИ БАГРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ, СЛЕПАЯ ПУРГА НАКРЫВАЛА БАГРОВЫЙ ОТ КРОВИ ЗАКАТ, И СЛЫШАЛАСЬ ПОСТУПЬ ДИВИЗИЙ, ВЕЛИКАЯ ПОСТУПЬ ДИВИЗИЙ, ЖЕЛЕЗНАЯ ПОСТУПЬ ДИВИЗИЙ, ТОЧНАЯ ПОСТУПЬ СОЛДАТ. НАВСТРЕЧУ РАСКАТАМ РЕВУЩЕГО ГРОМА МЫ В БОЙ ПОДНИМАЛИСЬ СВЕТЛО И СУРОВО. НА НАШИХ ЗНАМЕНАХ НАЧЕРТАНО СЛОВО: ПОБЕДА! ПОБЕДА!

ВО ИМЯ ОТЧИЗНЫ — ПОБЕДА! ВО ИМЯ ЖИВУЩИХ — ПОБЕДА! ВО ИМЯ ГРЯДУЩИХ — ПОБЕДА! ВОЙНУ МЫ ДОЛЖНЫ СОКРУШИТЬ. И НЕ БЫЛО ГОРДОСТИ ВЫШЕ, И НЕ БЫЛО ДОБЛЕСТИ ВЫШЕ — ВЕДЬ КРОМЕ ЖЕЛАНИЯ ВЫЖИТЬ, ЕСТЬ ЕЩЕ МУЖЕСТВО ЖИТЬ! НАВСТРЕЧУ РАСКАТАМ РЕВУЩЕГО ГРОМА МЫ В БОЙ ПОДНИМАЛИСЬ СВЕТЛО И СУРОВО, НА НАШИХ ЗНАМЕНАХ НАЧЕРТАНО СЛОВО: ПОБЕДА! ПОБЕДА!

Слушая Бальжрму, Делгир думала, что старая женщина правильно говорит. Но как заставить себя забыть горе?

Оставив детей на попечение Бальжрмы, она надолго уходила с отарой в степь, надеясь, что там ей будет легче. День и ночь в заботах, день и ночь ни минуты отдыха — она думала, что усталость притупит боль. Но и степь приносила ей только страдания: тут все напоминало о нем. Там, за пересохшим ручейком, желтеет холм — холм Цекри. Когда-то очень давно Цекря принес ее на этот холм, усадил на траву и сказал:

— Ты дочь степи, царица степи и моя царица!

Как он смеялся тогда! Какие у него были в тот день глаза! Как он смотрел на нее!

А вон там, за этой ложбиной, была их первая встреча. Никто ни разу не говорил ей о любви, и сама она никогда не испытывала этого чувства. «Ничто во мне не бурлит, — говорила она подружке. — И не будет бурлить, я это знаю. Я холодная...»

Она ехала на коне, конь чего-то испугался, понес, и трудно сказать, чем бы все кончилось, если бы не Цекря. Он вырос из-под земли, бросился к испугавшейся лошади, повис у нее на шее. Потом снял с нее Делгир.

— Такими вещами не шутят! — погрозил он ей. — Или тебе не жалко своей головы?!

Она стояла перед ним испуганная и молчала. Но он перестал быть суровым и погладил ее по щеке:

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ, ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ, ЧТО Ж МОЛЧИШЬ ТЫ, ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ! РАЗВЕ ТЫ ХОТЕЛ ТАКОГО! РАЗВЕ ТЫ МЕЧТАЛ КОГДА-ТО СТАТЬ НАДГРОБЬЕМ ДЛЯ МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА!

ЧТО Ж МОЛЧИШЬ ТЫ, ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ!.. МЫ В ГОРАХ ТЕБЯ ИСКАЛИ. СКАЛЫ ТЯЖКИЕ ДРОБИЛИ. ПОЕЗДА В НОЧАХ ТРУБИЛИ. МАСТЕРА В НОЧАХ НЕ СПАЛИ. ЧТОБЫ УМНЫМИ РУКАМИ, ЧТОБЫ СОБСТВЕННОЮ КРОВЬЮ ПРЕВРАТИТЬ ОБЫЧНЫЙ КАМЕНЬ В МОЛЧАЛИВОЕ НАДГРОБЬЕ.

РАЗВЕ КАМНИ ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО ГДЕ-ТО ПОД ЗЕМЛЕЮ СЛИШКОМ ДОЛГО СПЯТ СОЛДАТЫ! БЕЗЫМЯННЫЕ СОЛДАТЫ. НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ. А НАД НИМИ ТРАВЫ СОХНУТ. А НАД НИМИ ЗВЕЗДЫ МЕРКНУТ. А НАД НИМИ КРУЖИТ БЕРКУТ И КАЧАЕТСЯ ПОДСОЛНУХ. И СТОЯТ НАД НИМИ СОСНЫ. И ПОРА ПРИХОДИТ СНЕГУ. И ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ РАЗЛИВАЕТСЯ ПО НЕБУ. ВРЕМЯ ДВИЖЕТСЯ НАД НИМИ...

НО КОГДА-ТО, НО КОГДА-ТО КТО-ТО В МИРЕ ПОМНИЛ ИМЯ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА! ВЕДЬ ЕЩЕ ДО САМОЙ СМЕРТИ ОН ИМЕЛ ДРУЗЕЙ НЕМАЛО. ВЕДЬ ЕЩЕ ЖИВЕТ НА СВЕТЕ ОЧЕНЬ СТАРЕНЬКАЯ МАМА. А ЕЩЕ БЫЛА НЕВЕСТА. ГДЕ ОНА ТЕПЕРЬ — НЕВЕСТА! УМИРАЛ СОЛДАТ — ИЗВЕСТНЫМ. УМЕР — НЕИЗВЕСТНЫМ.

— Ну, ничего... Ты все-таки молодец, не упала. Хочешь, я отвезу тебя?

Она не успела ответить, как Цекря вскочил на ее успокоившегося коня, легко поднял Делгир и усадил впереди себя.

— Сиди смиренненько, — приказал он. — А то конь опять понесет...

И она сидела смиренненько, не коня боясь в ту минуту, а незнакомого чувства, незаметно пробудившегося в ней. Почему-то ей стало тревожно. Что произошло в ее душе? Отчего возникло желание, чтобы дорога как можно дольше длилась, чтобы ехать и ехать?

Да, вон там, за этой ложбиной, это началось...

И куда бы она сейчас ни глянула — везде была память о Цекре. Каждый холмик в степи, каждая ложбинка и каждый стебелек ковыля — во всем была память о нем. Потому что и степь, наверное, тоже не может жить без него, потому что они навсегда связаны — вот точно так, как Делгир и Цекря, у которых на двоих была и осталась только одна душа.

И все же правду говорят, что время — великий лекарь...

Цекря не уходил от нее, однако теперь, вспоминая его, Делгир не испытывала прежних мук. Теперь Цекря, идя рядом с нею, как бы поддерживая ее под руку, не давал ей упасть. Часто ей даже казалось, что она слышит его шаги и чувствует его дыхание.

ОЙ, ЗАЧЕМ ТЫ, СОЛНЦЕ КРАСНОЕ, ВСЕ УХОДИШЬ — НЕ ПРОЩАЕШЬСЯ! ОЙ, ЗАЧЕМ С ВОЙНЫ БЕЗРАДОСТНОЙ, СЫН, НЕ ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ! ИЗ БЕДЫ ТЕБЯ Я ВЫРУЧУ, ПРИЛЕЧУ ОРЛИЦЕЙ БЫСТРОЮ... ОТЗОВИСЬ, МОЯ КРОВИНОЧКА! МАЛЕНЬКИЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ... БЕЛЫЙ СВЕТ НЕ МИЛ, ИЗБОЛЕЛАСЬ Я. ВОЗВРАТИСЬ, МОЯ НАДЕЖДА! ЗЕРНЫШКО МОЕ, ЗОРЮШКА МОЯ, ГОРЮШКО МОЕ — ГДЕ Ж ТЫ!

НЕ МОГУ НАЙТИ ДОРОЖЕНЬКИ, ЧТОБ ЗАПЛАКАТЬ НАД МОГИЛОЮ. НЕ ХОЧУ Я НИЧЕГОШЕНЬКИ — ТОЛЬКО СЫНА МИЛОГО. ЗА ЛЕСАМИ МОЯ ЛАСТЫНКА! ЗА ГОРАМИ — ЗА ГРОМАДАМИ... ЕСЛИ ВЫПЛАКАНЫ ГЛАЗЫНЬКИ — СЕРДЦЕМ ПЛАЧУТ МАТЕРИ. БЕЛЫЙ СВЕТ НЕ МИЛ, ИЗБОЛЕЛАСЬ Я. ВОЗВРАТИСЬ, МОЯ НАДЕЖДА! ЗЕРНЫШКО МОЕ, ЗОРЮШКА МОЯ, ГОРЮШКО МОЕ — ГДЕ Ж ТЫ!

«Ты здесь, Цекря?»

«Я здесь».

И вера в то, что они до конца будут жить друг в друге, придала смысл ее жизни.

А жизнь шла. Война откатилась далеко на запад, оставив после себя руины, выжженные и вытопанные поля. Их район, правда, не испытывал на себе всех бед нашествия, но в соседних районах все было разрушено до основания. Скот, который не успели угнать за Волгу, был разграблен, колхозные закрома опустошены, от каменных построек остались только черные, тоскливо глядящие в небо трубы. Это полчища фашистской саранчи прошли над хотонами, мор прошел от края до края. Не хватало хлеба, негде было достать одежды, топлива. Уцелевший скот падал от бескормицы, а телеграммы шли одна за другой:

«Усильте сдачу мяса и шерсти».

«Увеличьте заготовки животноводческих продуктов».

«Категорически требуем выслать планы воспроизводства овец...».

Требуем, напоминаем, предупреждаем...

Эрдни перестал быть похожим на человека. Иссохший, издерганный, измученный, он метался по фермам, по отарам, днем и ночью его можно было видеть то в правлении, то в степи, то верхом на коне скачущим в районный центр на какое-нибудь совещание — заседание. Кому-то пришла похоронная, и Эрдни, ссутулившись, шел в дом печали. У кого-то метался в лихорадке ребенок, и Эрдни ча-

КОГДА ТЫ, ГРЯДУЩЕЕ, СКОРО ЛИ В ОТВЕТ НА КАКУЮ БОЛЫ ТЫ ВИДИШЬ: САМЫЕ ГОРДЫЕ ВЫШЛИ НА ВСТРЕЧУ С ТОБОЙ. ГРОЗИШЬ ЧАСТОКОЛАМИ НАДОЛЕ, ПУГАЕШЬ УГЛАСТЫМИ КРУЧАМИ, НО МЫ ПОДНИМАЕМ СЕБЯ ПО КАНАТАМ, ИЗ СОБСТВЕННЫХ НЕРВОВ СКРУЧЕННЫХ! ВЫРАСТЕМ, СТЕРПИМ ЛЮБЫЕ СМЕШКИ И СТАНЕМ БОЛЬШЕ БОГОВ! БУДУТ ДЕТИ НАШИ ЛЕПИТЬ СНЕЖКИ ИЗ КУЧЕВЫХ ОБЛАКОВ...

сами куда-то звонил, добиваясь врача, требовал доставить лекарства. Когда он спал и когда ел — этого никто не знал. Да и сам он, пожалуй, этого не знал.

Однажды в колхоз приехал инструктор райкома, молодой человек в макинтоше, весь очень чистенький, ему нужно было что-то проверить.

— Председателя вызвать ко мне!

— Эрдни просит извинить его, сейчас прийти он не может.

Тогда инструктор сам нашел Эрдни в чьем-то доме. Эрдни ответил инструктору, что большое горе пришло в этот дом, что он хорошо знал Церена, славный это был человек. И вот убили его...

— Сейчас многих убивают, — сказал инструктор. — На то война.

Женщина, вдова погибшего, стыдась слез перед незнакомым, вышла, а Эрдни продолжал сидеть, уйдя в себя. Он даже глаза прикрыл.

Инструктор добавил:

— Если бы все мы позволили себе раскиснуть, веселенькая была бы картинка! Оплакивать погибших — ваша обязанность?

Эрдни поднял глаза на гостя: этот цветущий молодой человек спрашивает — его ли, Эрдни Чудутова, обязанность оплакивать погибших. Значит, он считает, — размышлял Эрдни, — что это не долг, а обязанность...

— С каких это пор представителям вышестоящих...

— Вы коммунист? — перебил его Эрдни.

ЭТА ПЕСНЯ О СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ, ЭТА ПЕСНЯ О СОЛНЦЕ В ГРУДИ. ЭТА ПЕСНЯ О ЮНОЙ ПЛАНЕТЕ, У КОТОРОЙ ВСЕ ВПЕРЕДИ ИМЕНЕМ СОЛНЦА, ИМЕНЕМ РОДИНЫ КЛЯТВУ ДАЕМ, ИМЕНЕМ ЖИЗНИ КЛЯНЕМСЯ ПАВШИМ ГЕРОЯМ: ТО, ЧТО ОТЦЫ НЕ ДОПЕЛИ, — МЫ ДОПОЕМ! ТО, ЧТО ОТЦЫ НЕ ПОСТРОИЛИ, — МЫ ПОСТРОИМ!

УСТРЕМЛЕННЫЕ К СОЛНЦУ ПОБЕГИ, ВАМ ДО СИНИХ ВЫСОТ ВЫРАСТАТЬ. МЫ, РОЖДЕННЫЕ ПЕСНЕЙ ПОБЕДЫ, НАЧИНАЕМ ЖИТЬ И МЕЧТАТЬ ИМЕНЕМ СОЛНЦА, ИМЕНЕМ РОДИНЫ КЛЯТВУ ДАЕМ. ИМЕНЕМ ЖИЗНИ КЛЯНЕМСЯ ПАВШИМ ГЕРОЯМ: ТО, ЧТО ОТЦЫ НЕ ДОПЕЛИ, — МЫ ДОПОЕМ! ТО, ЧТО ОТЦЫ НЕ ПОСТРОИЛИ, — МЫ ПОСТРОИМ!

ТОРОПИТЕСЬ, ВЕСЕЛЫЕ ВЕСНЫ! МЫ ПОГИБШИМ НА СМЕНУ ПРИШЛИ. НЕ ГОРДИТЕСЬ, ДАЛЕКИЕ ЗВЕЗДЫ, ОЖИДАЙТЕ ГОСТЕЙ ЗЕМЛИ! ИМЕНЕМ СОЛНЦА, ИМЕНЕМ РОДИНЫ КЛЯТВУ ДАЕМ. ИМЕНЕМ ЖИЗНИ КЛЯНЕМСЯ ПАВШИМ ГЕРОЯМ: ТО, ЧТО ОТЦЫ НЕ ДОПЕЛИ, — МЫ ДОПОЕМ! ТО, ЧТО ОТЦЫ НЕ ПОСТРОИЛИ, — МЫ ПОСТРОИМ!

— В райкоме беспартийные не работают!
— Но мне известно, что не всякий, кто имеет партийный билет, является коммунистом. Идите в правление и ждите меня там.

Эрдни показал ему на дверь и отвернулся. И опять заботы — ни днем, ни ночью никакого просвета: шифер, лес, кирпич, тес, гвозди — где это взять? Корм для скота, молоко для детей, врача и лекарства больным, тепло и участие безутешным. И день ото дня все чаще и все настойчивей: увеличьте, форсируйте, дайте сверх плана, требуем, напоминаем, предупреждаем...

«Немедленно выезжайте Элисту обком партии о выезде сообщите заворготделом».

По дороге в Элисту он думал о том, что пришла, как видно, пора уступить свое место кому-нибудь помоложе. А кому уступить? Вот вернулся бы Цекря с войны, тогда бы дело другое... Но с этого пути Эрдни свои мысли увел — незачем предаваться пустым иллюзиям, надо о деле думать, о деле!

— Устали с дороги? — встретили его в вестибюле обкома.

— Устал, — признался Эрдни, — дорога нелегкая.

— Почему выгнали моего инструктора?

— Не выгонял, сам уехал. — Эрдни рассказал, как было, и добавил: — А выгонять я его не выгонял. Неправду он говорит.

— Не выгонял? А я на вашем месте выгнал бы! В шею!

...Долгий-долгий коридор обкома, озабоченные люди навстречу с бумагами и без бу-

СЛУШАЙТЕ! ЭТО МЫ ГОВОРИМ, МЕРТВЫЕ. СЛУШАЙТЕ! ЭТО МЫ ГОВОРИМ ОТТУДА, ИЗ ТЬМЫ. СЛУШАЙТЕ, РАСПАХНИТЕ ГЛАЗА! СЛУШАЙТЕ ДО КОНЦА. ЭТО МЫ ГОВОРИМ, МЕРТВЫЕ, СТУЧИМСЯ В ВАШИ СЕРДЦА. НЕ ПУГАЙТЕСЬ, ОДНАЖДЫ МЫ ВАС ПОТРЕВОЖИМ ВО СНЕ, НАД ПОЛЯМИ СВОИ ГОЛОСА ПРОНЕСЕМ В ТИШИНЕ. МЫ ЗАБЫЛИ, КАК ПАХНУТ РОЗЫ, КАК ШУМЯТ ТОПОЛЯ. МЫ И ЗЕМЛЮ ЗАБЫЛИ — КАКОЙ ОНА СТАЛА, ЗЕМЛЯ КАК ТАМ ПТИЦЫ ПОЮТ НА ЗЕМЛЕ БЕЗ НАС! КАК ЧЕРЕШНИ ЦВЕТУТ НА ЗЕМЛЕ БЕЗ НАС! КАК СВЕТЕЕТ РЕКА И ЛЕЯТ ОБЛАКА НАД НАМИ — БЕЗ НАС! МЫ ЗАБЫЛИ ТРАВУ, МЫ ЗАБЫЛИ ДЕРЕВЬЯ ДАВНО. НАМ ШАГАТЬ ПО ЗЕМЛЕ НЕ ДАНО, НИКОГДА НЕ ДАНО! НИКОГО НЕ РАЗБУДИТ ОРКЕСТРА ПЕЧАЛЬНАЯ МЕДЬ...

ТОЛЬКО САМОЕ СТРАШНОЕ, ДАЖЕ СТРАШНЕЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ, — ЗНАТЬ, ЧТО ПТИЦЫ ПОЮТ НА ЗЕМЛЕ БЕЗ НАС! ЧТО ЧЕРЕШНИ ЦВЕТУТ НА ЗЕМЛЕ БЕЗ НАС! ЧТО СВЕТЕЕТ РЕКА И ЛЕЯТ ОБЛАКА НАД НАМИ. БЕЗ НАС...

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ, ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ. НАРАСТАЮЩИЙ ВЕТЕР КОЛЫШЕТ БОЛЬШИЕ ХЛЕБА... ЭТО — ВАША СУДЬБА. ЭТО ОБЩАЯ НАША СУДЬБА... ТАК ЖЕ ПТИЦЫ ПОЮТ НА ЗЕМЛЕ БЕЗ НАС. И ЧЕРЕШНИ ЦВЕТУТ НА ЗЕМЛЕ БЕЗ НАС. И СВЕТЕЕТ РЕКА, И ЛЕЯТ ОБЛАКА НАД НАМИ. БЕЗ НАС...

маг, местные и приезжие, хозяева и гости. Приемная секретаря обкома, дверь, обитая черным дерматином, затем просторный кабинет и мягкие кресла. О, эти кресла! Разве они для того, чтобы, сидя в них, вести разговоры? Они для того, чтобы в них спать, очень крепко спать в тепле и покое после обжигающего ветра степи, после тяжких забот.

— Дело серьезное, товарищ Чудутов. Председатель райисполкома Улан-Хольского района, как вы знаете, умер, и вам придется занять этот высокий пост. Не спрашиваю — справитесь ли вы, не справитесь. Что будет дальше — покажет время, а сейчас другого выхода нет.

Это, кажется, секретарь обкома говорит. Что он говорит? Умер кто-то... Опять кто-то умер, и ему, Эрдни, надо подготовиться, чтобы утешить как-нибудь людей, которые потеряли этого человека... Председатель райисполкома... Занять высокий пост...

Проснулся он лишь на второй день в этом же кабинете, на диване.

По пути в обком он думал, что пора отойти на обочину жизни, а на обратном пути — о том, как снести ему еще одну тяжкую ношу. Район — это ведь не колхоз, это пусть маленькое, но государство. Хватит ли знаний, хватит ли опыта? И тот же самый мучительный вопрос — кому передать колхоз, на кого положиться? Мектя молод еще, не тверд. Босхомджи Эвеев, бухгалтер, узок, без раз-

Я НЕ СМОГУ... Я НЕ УМРУ! ЕСЛИ УМРУ — СТАНУ ТРАВой.
СТАНУ ЛИСТВОй, ДЫМОМ КОСТРА, ВЕШНЕЙ ЗЕМЛЕЙ, РА-
НЕЙ ЗВЕЗДОй. СТАНУ ВОЛНОй, ПЕННОй ВОЛНОй! СЕРДЦЕ СВОЕ
ВДАЛЬ УНЕСУ. СТАНУ РОСОй, ПЕРВОй ГРОЗОй, СМЕХОМ ДЕТЕЙ,
ЭХОМ В ЛЕСУ... БУДУТ В СТЕПЯХ ТРАВЫ ШУМЕТЬ. БУДЕТ СТУЧАТЬ
В БЕРЕГ ВОЛНА...

ТОЛЬКО Б ДОПЕТЬ, ТОЛЬКО Б УСПЕТЬ ТОЛЬКО Б ИСПИТЬ
ЧАШУ ДО ДНА! ТОЛЬКО Б В НОЧИ ПЕЛА ТРУБА! ТОЛЬКО Б В
ПОЛЯХ ЗРЕЛИ ХЛЕБА! ДАЙ МНЕ ЯСНОй ЖИЗНИ, СУДЬБА, ДАЙ
МНЕ ГОРДОй СМЕРТИ, СУДЬБА!

маха, скопидом... Ах, вернулся бы с войны Цекря — не было бы тогда этой заботы.

Была ночь, когда Эрдни вернулся в колхоз, нигде ни огонька, только в правлении еще светились два окна. Он привязал коня к коновязи и вошел.

— Следующий вопрос, — услышал он с порога, — прием кандидатом в члены партии колхозницы Делгир Лиджиевой... Рекомендуют ее товарищи Эрдни Чудутов, Босхомджи Эвеев и Тюмид Алтаев... Наверное, послушаем автобиографию?

Делгир подошла к столу. Даже тогда, когда она впервые в жизни говорила с трибуны в день отъезда Цекри на фронт, волнение ее не было столь сильным, как сейчас.

— Давай, Делгир, чего ты боишься?

— Я здесь родилась, — пересилив себя, начала Делгир. — И все время живу здесь... Училась, вышла замуж за Цекрю, жили мы хорошо. Цекря был хорошим человеком, такого, наверное, нет больше на всем свете. Если бы вы знали, как он любил детей! Если бы вы знали, каким он был честным и добрым! Почему я не умерла, когда узнала, что его уже нет, — я не пойму. Мне хочется, чтобы мой сын Анджа был, как его отец...

— Ты о себе расскажи, Делгир. О себе, понимаешь?

— Понимаю, — ответила она. — Только отдельно о себе я говорить не могу. Я хочу вступить в партию. Цекря был коммунистом...

Она умолкла, ожидая, что опять ей скажут, наверное, чтобы она не про Цекрю гово-

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА — ПОМНИТЕ! О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА, — ПОМНИТЕ! НЕ ПЛАЧЬТЕ, В ГОРЛЕ СДЕРЖИТЕ СТОНЫ, ГОРЬКИЕ СТОНЫ, ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ. ВЕЧНО ДОСТОЙНЫ! ХЛЕБОМ И ПЕСНЕЙ, МЕЧТОЙ И СТИХАМИ, ЖИЗНЬЮ ПРОСТОРНОЙ, КАЖДОЙ СЕКУНДОЙ, КАЖДЫМ ДЫХАНЬЕМ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

ЛЮДИ! ПОКУДА СЕРДЦЕ СТУЧИТСЯ — ПОМНИТЕ! КАКОЮ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ, — ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ! ПЕСНЮ СВОЮ ОТПРАВЛЯЯ В ПОЛЕТ, ПОМНИТЕ! О ТЕХ, КТО УЖЕ НИКОГДА НЕ СПОЕТ, — ПОМНИТЕ! ДЕТЯМ СВОИМ РАССКАЖИТЕ О НИХ, ЧТОБЫ ЗАПОМНИЛИ! ДЕТЯМ ДЕТЕЙ РАССКАЖИТЕ О НИХ, ЧТОБЫ ТОЖЕ ЗАПОМНИЛИ! ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЕССМЕРТНОЙ ЗЕМЛИ ПОМНИТЕ! К МЕРЦАЮЩИМ ЗВЕЗДАМ ВЕДЯ КОРАБЛИ, О ПОГИБШИХ ПОМНИТЕ!

ВСТРЕЧАЙТЕ ТРЕПЕТНУЮ ВЕСНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ. УБЕЙТЕ ВОЙНУ, ПРОКЛЯНИТЕ ВОЙНУ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ! МЕЧТУ ПРОНЕСИТЕ ЧЕРЕЗ ГОДА И ЖИЗНЬЮ НАПОЛНИТЕ! НО О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА, ЗАКЛИНАЮ — ПОМНИТЕ! ЗАКЛИНАЮ — ПОМНИТЕ!

рила, а про себя. Но что это значит про себя, если все, что бы она про себя ни сказала, — все это будет про Цекрю?

Однажды, выждав момент, к ней подошел Манкир.

«Я люблю тебя, — сказал он ей. — Только тебя одну. Я любил тебя, когда ты еще не была замужем, любил, когда ты жила с Цекрей, люблю сейчас и буду любить всю жизнь. Я засыпаю и просыпаюсь с твоим именем. Если тебе это не нравится, я больше никогда не заговорю об этом, но позволь мне быть твоим другом».

Она ответила ему на это лишь то единственное, что могла ответить: «Ты хороший человек, я знаю. Но я люблю Цекрю и никогда не изменю его памяти».

Но разве скажешь об этом здесь, на партийном собрании? Что могла сказать она про себя такого, что было бы только про нее одну, чтобы без Цекри?..

Но никто ни о чем больше ее не спросил.

— Есть предложение принять Делгир Лиджиеву кандидатом в члены партии. Кто за?

Эрдни, стоявший в дверях, как пришел незамеченным, так и ушел. Мысль, которая пришла ему в голову, была слишком неожиданна, ее нужно было обдумать наедине.

Кажется, это уже было когда-то: Делгир угощала гостя чаем — без сахара, но с лепешкой. Эрдни достал из кармана газетный

комочек, извлек из него два кусочка сахара, поманил к себе детей и оделил их.

— Я долго думал, прежде чем прийти к тебе. Я думал, кому доверить колхоз, и не находил никого, кто был бы лучше Цекри. Но Цекря теперь это ты...

Делгир слушала, глядя в окно. За окном, как и тогда в прошлый раз, ослепительно сияли снега. Скоро будет весна. Скоро степь зацветет. Скоро будет Победа.

Человек стоял на кургане и слушал степь.

Степь была для него как песня, которую он сам сложил: все здесь прошло через его сердце. Степь молчала, но для человека того она не молчала. Она говорила, иногда она даже пела. Из тысяч жизней, таких, как жизнь одного человека, невозможно составить и тысячной доли жизни этой степи. Не об этом ли она и пела? Она горела дымным огнем, подоженная ордами Чингисхана, стонала от топота копыт дончаков, на которых мчались белогвардейские банды, не забудет она и кровь своих сыновей, пролитую в годы войны с фашистами. Скоро она зацветет маками и тюльпанами, и эта радость надол-

го останется, — может быть, навсегда, ибо вовеки уже не придут сюда больше страдания, от которых избавили степь ее сыновья.

Курган, на котором стоял человек, был высок, с его вершины далеко можно увидеть. Но еще дальше можно увидеть, если закрыть глаза и смотреть не вдаль, а в себя. Можно увидеть горы за тысячу верст отсюда, горный ручей и маленькую в несколько шагов площадку над этим ручьем.

— Эге-ей, Анджа, сынок! Ты слышишь меня?

Плывут и плывут по небу низкие тучи, гонит их ветер неизвестно куда...

— Эге-ей, Анджа!

То ли это голос матери, которая идет к нему, а следом идет дядя Манкир, то ли это голос самой степи? Ведь степь — это песня, которую человек сам сложил: все в ней прошло через его жизнь...

С(Калм)
К89

Кукаев Анатолий Манджиевич
К89 Тыла нет. Повесть. Пер. с калмыцк.
М., «Современник», 1973.

200 с. с илл.

Повесть «Тыла нет» — о войне. Повествование разворачивается в двух сюжетных плоскостях — на фронте и в тылу. Но тыла нет. Всюду люди живут одной мыслью — разбить врага, каждый на своем месте делает все для победы. Манере писателя свойственно стремление к обобщенно-крупным эпическим образам.

«Реквием» Роберта Рождественского, включенный в последнюю главу, выявляет художественную природу книги, как произведение, родственное ей по смыслу и стилю.

К 0733—176
106(03)—73 119—73

С(Калм)

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННИК», 1973 г.

Анатолий Манджиевич Кукаев
ТЫЛА НЕТ

Редактор Н. Боярская
Художник Б. Эм
Художественный редактор Б. Моккин
Технический редактор А. Третьякова
Корректоры Н. Пестерева, Н. Попникова

Сдано в набор 17/IV 1973 г. Подписано к печати 10/VIII 1973 г.
A08197. Формат бум. 70×90¹/₃₂. Бумага офс. № 1. Печ. л. 6,25.
Усл. печ. л. 7,31. Уч.-изд. л. 7,32. Тираж 50 000 экз. За-
каз № 2509 Цена 46 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Со-
вета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Фабрика офсетной печати управления издательств, полиграфии
и книжной торговли, г. Волгоград, ул. КИМ, 6.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее
содержании, художественном оформ-
лении и полиграфическом исполне-
нии направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»

Редакция литератур народов РСФСР готовит к изданию в 1974 году:

Абу-Бакар А. Пора красных яблок. Роман и повесть. *Пер. с даргинского.*

Доможаков А. В далеком аале. Роман. *Пер. с хакасского.*

Еникеев А. Живун. Роман. *Пер. с коми.*

Каткова З. Где ты, счастье мое? Роман. *Пер. с марийского.*

Кимонко Д. Там, где бежит Сукпай. Повесть. *Пер. с удэгейского.*

Куторкин А. Валдаевы. Роман. *Пер. с мордовского.*

Сарыг-Оол С. Повесть об Ангыр-ооле. Роман. *Пер. с тувинского.*

Торопов И. Ну, залетные! Повести и рассказы. *Пер. с коми.*

Хусни Ф. Год тридцатый. Роман.

Эрстин Э. Молодость Марыкчана. Роман. *Пер. с якутского.*